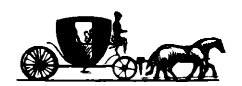
Саша Соколов

Между собакой и волком



саша соколов

между собакой и волком

ардис

Саша Соколов
Между собакой и волком

ISBN 0-88233-339-9 (cloth)
ISBN 0-88233-340-2 (paperback)

ПРИЯТЕЛЯМ ПО РАССЕЯНЬЮ

Люблю я дружеские враки
И дружеский бокал вина
Порою той, что названа
Пора меж волка и собаки

Пушкин

Молодой человек был охотник

Пастернак

МЕЖДУ СОБАКОЙ И ВОЛКОМ

1. ЗАИТИЛЬЩИНА

Месяц ясен, за числами не уследишь, год нынешний. Гражданину Сидор Фомичу Пожилых с уважением Зынзырэлы Ильи Петрикеича Заитильщина. Разрешите уже, приступаю. Гражданин Пожилых. Я, хоть Вы меня, вероятно, и не признáете, гражданин, тоже самое, пожилой и для данных мест сравнительно посторонний, но поскольку точильщик, постольку точу ножи-ножницы, и с панталыку меня вряд ли, пожалуй, сбить, пусть я с первого взгляда и совершенный культяп. Точу и косы, и топоры, и другой хозтовар, но такие подробности только усугубили бы речь. По реченной причине опускаю и события отзвонивших-и-с-колокольни-долой лет, лишь настаиваю, что до сего дня вплоть в судимые не попал, даром что обитал в значительных городах. Куковал где поселят и запросто, за сéмью по-настоящему не болел, а зарабатывал, прося у публики вспомоществовать по мере сил и возможностей. В чем и раскаиваюсь, избрав для этого артель индивидов имени Д. Заточника. Вы меня извините, конечно, а контора самостоятельная и прейскурант имеется налицо. В теплоту — все те же ножи: ходим вокруг да около и отходим в отхожие промысла. Наоборот, в морозы обслуживаем население по точке и клепке, поелику с ноября по апрель, ежедневно, без выходных, бобылье и уроды наподобие Вашенского корреспондента звенят и крутятся на зеркале вод, а как смеркнется — так Вы приветствуете их в трехэтажной тошниловке, прозванной с чьей-то заезжей руки кубарэ; но Илью среди них не обрящете. Вам взгрустнется: что он за мымра такой, почему не сообразит себе пару точеных, как у людей, неужель презирает пошаркать на острых по гладкому, ужели

гребует кружечкой полезно-общественного пивка? Заблуждение, от свойственного ни в чем да не отрекусь, и не из тех я точильщиков, которые не востры суть. Пара, правда, нам ни к чему, но один снегурок на блезире всегда висит. Что мне за важность, что очутился, к сожалению, ущерблен, ежели по натуре кремнист: полюбил раскатиться — и не уймешь, было б чем отпихнуться — дзынь раза́, гражданин Пожилых, дзынь раза́, и подъелдыкивай, брюзжи себе под дугою хоть до Валдай-пристани — литье бубенчиков, печенье баранок, отпуск пеньки — и никто тебе по Итилю не указ. Разрешите продлить? А вот именно и оно, что отпихнуться в последнее время нечем как есть. Декабря в четвертый четверг, читай в Канун, шел я из-за реки, выдвигаясь от некоторого вряд ли Вам знакомого погребальщика. Провожали одного одинокого, отбросившего коньки через собственный горделивый азарт. Жил он в Мыло, можно сказать, Мукомолове, но на отшибе, в ужовниках с примесью ветляка, был охотник, держал неизменно бормотов, довольно-таки мохноногих, да сомневаюсь, чтоб состоял в переписке с кем-либо: сомнительно. Сам, однако, сновал сухощавый, как то мочало в жары, а звали его — я не припомню как. Гурий — так и звали его, если на то пошло. Из развлечений означенного Гурия укажу на следующее: вот кто обожал пошаркать и раскатиться по гладкому на точеных, которые и стали причиной того, что мы клиента утратили, а погребальщики клиента же обрели. Рядом с этим поставлю в известность. В стрелецкие числа, чтобы опасней, зато бодрей, бобыли обоих мелкоплесовских берегов обустраивают состязания на слабеющем льду. Происходит в кромешной темени, предумышленно без небесных светил, и народ фигуряет кто мудреней и суетится в горелки и взапуски, не зря промоин и трещин. Что чревовато. Прикурить насчет покрутиться всем давал такой Николай, парень из утильной, в ко-

нечном итоге, артели. По фамильярному прозванью Угодник, выступал он по́ миру как искренний незадачник, и отдельные шутники из завистников ехидствовали над ним, говоря, что затейливо столь выдрючивается оттого, что притерся мыкаться по темным углам, ему, мол, в обычину. Хроника его невезухи, если не возражаете, какова? Он, во-первых, изведал семейную матату, но супруга поладила с волкобоем и сжила Угодника долой со двора, во-вторых. И тогда постучался в городнищенский приют для неслышащих, но последние дали от ворот поворот: учрежденье у нас лишь для глухарей, а ты, как видишь, еще и слепак, так что сам понимаешь. Потому этот малый посунулся в незрячий приют: ничего подобного, переполнен лимит койко-мест, то ли случай, когда б фисгармоника собственная была, ошивался б по дебаркадерам и выручку знай сдавал бы в общий котел, и мы бы тебя за это держали. Николай Угодников, он восстал перед ними во весь свой скрюченный рост и, сердито плача горючими бельмами, закричал: стручки вы заморские, да случись у меня мусикия своя — разве спрашивал бы я у вас, как же быть. И следующим этапом явился-не запылился в дом заезжих бездомных, но те вошли в его шкуру любезно, плеснув от души. И соблазняли: живика, брат, вечно. А наведалась к кому-то из них эта дама и замечает Угодника среди прочих убогих, в кругу их: что это там у вас между вами невзрачный какой на катке? Не беспокойся, это просто Николка у нас между нами катается себе на катке. Вероятно, не так уж худо его обстоятельство, говорит, если он лихо так оборачивается. Нет, сказали, оно у него не ахти, табак его обстоятельство, только и остается утех, что мыслéте выделывать. Дама же: нет уж, вы уж лучше не позволяйте ему здесь чудить, ну его, неказистого. И богаделы просили Угодника: сделай нам одолжение, не живика, брат, вечно, а то нарекания. Ничего не ответил, ведь

слыл ко всему и немым, и он отправился из заведения вдаль и даже не обернулся. И его пригрела артель по сбору всевозможного утиля́. Известили, что излишней выслугой лет у них не блеснул, но что по-пьяному маленько погорячился и куда-то такое пропал, да и вряд ли, пожалуй, объявится. Такова, если не возражаете, эта хроника. Возникает: точил ли я ему неточеные? А оказывается, только я один из всего коллектива ему и точил, а остальные сотрудники, брезгуя, воротили нос, несмотря что и сами пачули не первой свежести. Точил я и Гурию, и Крылобылу, и Зимарь-Человеку точил, я всему Итилю, понимаете ли, точил. А вот Гурий-Охотник, он по беговой части карьеру жал. Хлебом, бывало, его не корми — дай разлететься по скользкому. Разлетится он в артельную мастерскую некоторый раз, перепадет, словно бы долгожданный в засуху дождь, забежит, подустал, и что нам прикажете делать — мы сбрасываемся по рублю. И считаться. Вышел Гурий из тумана, вынул ножик из кармана, стану я тот нож точить, а тебе — вина тащить. Если мне — я с печалью, но я готов. Раз хотел уже приторочить к чеботу снегурок, но в это мгновение замечаю, что скучает по рашпилю. Хвать — а рашпиль запропастился совсем, либо коллеги его заиграли. Гурий задумался благородно и говорит: что ты ищешь, скажи. Я сказал. Он сказал им: эй вы, механики, верните стру́мент, кто заиграл, корешок обыскался а то. Но артель отвечала: отзынь, на́ болт нам долбаный рашпиль его. И еще: что он, на рашпиле, что ли, в Сло́боду попылит? Да и вы, наверно, засомневаетесь, разумно ли, базируясь под боком у кубарэ, в Слободу семь верст киселя хлебать — на рашпиле там или на дурашпиле. Не сомневайтесь, ибо ведь жертва жребия спешит не пустой, он таранит в торбе на мощном горбу стеклотару, купно собранную при долинах и взгорьях. И — Вы, может, еще совершенно не в курсе — стремлюсь предуведомить. В кубарэ из

какой-то ложной гордыни посуду не принимают во вниманье отнюдь и на вынос торгуют с большими скандалами, чем с человеческой точки зрения дают коммерческий мах. И другая картина рисуется в забегаловке на протоке, за грядой кудреватых, но с виду незначительных островов. Там твое заберут по справедливой цене, без капризов, а оплаченное имеешь право употребить как в помещении, так и вне. И Гурий точильщикам напрямик: а хотя б и на рашпиле. И затем он же им же: Илие, вероятно, на рашпиле не с руки, ну, а я бы, разумеется, очаровательно б смог. Они его тогда — ну подначивать, гражданин Пожилых. Верим-верим, ты у нас марафонить известный мастак, вон мослы-то себе отрастил — первый сорт, и сухие и долгие, нам ли с нашими бестолковыми моськами в калашный ряд, а тем паче Илье-Безобразнику. Не сокрою, случаются фотокарточки хуже, но реже. Так, докладывал егерь Манул, ходивший по щепетильным нуждам в Иные Места, что встречал там срашилищей и почище. Значит не все потеряно, дорогой, и покуда держу я кой-как клепало и брус, к бесталанным себя не причислю и отчаянья в Илье не ищи. Обнаруживаю я рашпиль, заусенец смахнул, и выдвигаюсь, груженный, нá реку. Я беру направление наискосяк, под градусом, и поелику тонок лед, вся она подо мной, как открытая. Достигаю протоки. По ней, в затишке поддав, заруливаю под самую Слободу. Тары-бары я там особенно не рассусоливаю, недосуг. Совершаю законную куплю-продажу, разворачиваюсь и дую домой, а сумерки так и вьются над глупой моей башкой, и Даниилы мои издали освещают мне ледяной путь мой коптилкою штормовой, чтобы не проскочил я, паче чаяния, мимо цехов. Приняли мы тогда. Нас ты, горемык, обойдешь как стоячих, артель подначивала, с тобою, Гурий, гоняться мы пасы. Так, механики, так, я меж всеми тут есть настоящий сухой бегун. Поглядите, он им сказал,

поглядите во все наши дали заиндевелые, нет эдакого, которого бы я не обшаркал — где юноша сей? Воскурили, заспорили и вышли на холод перекурить. Стали мы на пригорке; за нами град деревянен, велик, там мужик брандахлыстничает вовсю, а внизу, перед нами, плес — как на ладошке застыл. Оглянитесь, Гурий мастерам заявил, там, на правой руке, будет у нас селение Малокулебяково. Ну и кто же у нас там живет? Мало ли в Кулебякове кто живет, артельщики сказали уклончиво. Например, существует там известный мельник-толстяк, которого земля едва носит, не то, что лед, а на мельнице у мельника чурка есть, Алладин, но с ним, понимаем, гоняться тебе не в честь. И находится в Кулебякове егерь еще, который, по слухам, в сухой колодец упал. Он кричит, а его не слышно, а супруга его знает, где он, но безинтересно ей его доставать, потому что с соседом фигли-мигли у ней — тоже с егерем, но молодей: задурил-таки тот ей голову. Словом, заняты тут егеря, не до гонок. А больше в селе и нет никого. А во Плосках из более или менее бегунов обретается юноша Николай, у которого имени собственного не было никогда, верней было, но слишком давно. И когда Николаю Угоднику вышло преображение и он улетел, этот имя его себе урвал — не дал, называется, добру пропасть. Гурий же: а то, что он рыбку потаскивает — и вообще не беда, и зря на него рыбари обижаются и желали бы погубить. Подумаешь — рыб человек у людей немножко крадет, выискали тоже зацепку человека снедать. Так, Гурий, так, твари на воле, в тенетах ли — равно ничьи, а если и чьи — то известно Чьи, но тогда все ловцы здесь, выходит, сильнеющие браконьеры перед лицом Его. И напрасно, напрасно они Николу порешили некогда. Вот он, кстати сказать, улов их как раз из вентерей их подледных за островами берет. Завязал мешок — на салазки — и потянул. Знобко ему, очи ему дальновидные метель

нажгла, валенки прохудились, варежки потерял, коньки не точеные, а Волколис приставучий — он тут как тут. Кинь рыбешку, Николаю грозит, кинь вторую, а то темноту на Итиль напущу. Николая Плосковского ночь пуще смерти страшит, и он тройку осетров Волколису беспрекословно кидает в лес. Ибо ведь в Городнище до темна не поспеть — средств за товар не выручить, средств за товар не выручить — в кубарэ не зайти, в кубарэ не зайти — со товарищи не гулять, а со товарищи не гулять — так зачем тогда лямку тянуть, гражданин Пожилых, сами судите. И пока те деятели с дрекольем веским Николая у околицы ждут, он с полмешком осетров серебристых и зеленых склизких линей приближается ходом к пригородам. Мол, поклон тебе, лубяной веселеющий град, исполать вам, высокие расписные тараканьи терема. Приюти, говорит, град, на грядущую ночь убиенного недругами невезучего рыбаря, закупи у него товар, дай деньжат небольших, чтоб в кармане позвякивало, пусть разгладятся морщины у старика, пусть растопырит нетопырь-одиночка сморщенные крылья свои. И не будь скупердяем, плесни, град, вздрок. А еще, говорит, познакомь ты меня, град, с бобылкой которой-нибудь поскуластей, поласковей. Снял коньки и пошел, пошел в гору Николай из Плосков, а навстречу ему неимущих чертова прорва поспешает, не торопясь: дай да дай нам от уловов твоих ради Христа, а не то хуже будет. Судари попрошаи, плесы у меня в мешке не мои, ибо все, что тут есть кругом, в том числе веретена рябых облаков, и река, и ладьи, что брюхатыми вдовами валяются, брошены, кверху пузами возле бань, а также лохмотья наши и мы сами, которые в них, — все это не мое и не ваше. Знаем-знаем, нищие, как чумовые смеясь, закивали тогда, значит, дай нам, тем не менее, на́ душу по хвосту, дай нам рыб не твоих, тем более. Вижу, горемыкам Николай плачется на горе, вижу, что с панта-

лыку вас вряд ли, пожалуй, сбить. И вручает каждому по линю. Деться некуда — нищих прорва, а он един. Человек одинокий в дороге его, особенно когда синька такая над Волчьей висит, он, позвольте признаться, на целом свете един. Николай дает им всякому по хвосту и вступает с остатком добычи в деревянный декабрьский град, и стучит стародавней клюкой в ворота гулких дворов, и клянет шавок гавких, мерзлые цепи грызущих. А мы стоим себе дальше на берегу; звезд над нами немного пока воссияло, но все-таки. И Гурий-Охотник, он заявляет безо всяких обиняков: с Николаем Плосковским, пусть я его и уважаю слегка, гонки гонять для себя не полагаю приличным, по мне он дряхл да и суетен — обшаркаю и смущу.

Но не пощелкивает ли, сказал кто-то вдруг, не мудрует ли там, во Плосках, этот Федор, на счетах-то. То есть, Федор не Федор, а как бы Петр. А уж Егор-то — во всяком случае. Специальность за ним числилась счетовед, но и он, как впоследствие выяснилось, был вор хоть куда: вот бы с кем Гурию разбежаться. Понимаете ли, какая вещь? Когда эта дама явилась негаданно на́ косу, а они — большей частью окрестные сидни из егерей — там сидели весной, как всегда, наблюдая гусиный лет, но об этом сиденьи мало кто из посторонних осведомлен, так как происходящее имеет место в купинах и сумраках и плывущему по воде сокровенно, и когда они сидят на косе и слегка принимают, к ним является дама, интересуясь: ну, что, нету ли среди вас, которого я ищу? Да как тебе сказать, пожимают плечьми, смотри сама, только просим заметить, что мы все хоть куда и готовы на все про все, лишь бы потрафить тебе, приворотнице наших мест. Она стала смотреть сама и потом объявила: которого я ищу, среди вас я не вижу, но замечаю иного, который бы мне на пока подошел. И посматривает на Петра. Лютый забрал счетоведа колотун,

засветился бухгалтер, как если бы пламень ясный по жилам у него полыхнул. И промолвил, подымаясь и отряхиваясь впопыхах. Он промолвил, подымаясь с сырой земли, куда ему было уйти в скромном будущем: я — Егор из Плосков, и веди меня куда хочется. Увела его дама, счастливого, куда хочется, сидни же пили, закусывали и завидовали Петру. Дней через несколько возвращается на косу, и они обступили его и спрашивали. Что, Петра, сладенько выгорело тебе погулять? Сидни спрашивали Федора, чтобы узнать, сладко ли было с дамой ему. Он им почти ничего не высказал, но сказал им: мне было так, что лучше даже не спрашивайте. Ну, а все-таки, не отступали от Федора волкари, все-таки — слаще ли браги тебе побывать у нее обломилось? Не спрашивайте, Петр отвечал, даже намеками. Слаще ли, чем крамбамбули, время минувшее было тебе, они, все-таки, спрашивали. Что там крамбамбули, Федор, вскипев, изумил, слаще гнилухи валдайской все выгорело. Приняли они тогда по поводу возвращенья Петра, и он им с бухты-барахты признается в слезах, что возврата к зазнобе не мыслит, былое похерено, а поэтому не нужно ему ничего, ибо что ему лично нужно после всего, что меж ними было двумя, да и воспоминания рассеянья не сулят; память не в дебет, брат, в кредит. И это факт, уж в этом-то, дорогой Пожилых, положитесь-ка на меня, потерпевшего некогда крушение на скоростях. Не поперло тебе, Зынзырелла Илья, повело тебя, покоробило, будто фанерный лист. Кантовались мы в загороде, ютились вольготным браком у Орины в норе, позабыв про печали с печатями. Не клянусь, что по-гладкому катилась наша приязнь, но подчеркиваю — сначала обходилось втерпеж. Невтерпеж покатилось, когда со стрелки, где сортировала курьерские, скорые и тому подобные, и где за недостатком до́суга с шуры-мурами не особенно-то впротык, перебросили мою кралю в кирпичную

башню, в диспетчера́ — вагоны с горки спускать. Не к добру ты мурлыкал, Илья, предвкушая ее надбавку за чистоту, пел Отраду, живет, говорил, в терему, насвистывал, не чая крутых перемен. Лишь затем ты допетрил, что, гонимая узловатою скукотой, сопрягнулась со сцепщиками, стакнулась со ремонтным хамьем, и что если и не было в башню хода кому — так только тебе, милок. А допетрив, первые сроки еще шутил: брось ты, Оря, мараться с ними по рвам, типа, не истинное это у них, непутевые ведь ребята, путейцы-то. Так шутил, находя в себе смутные силы, пусть и не было мочи порой. Отбояривалась, ядреная, наливная, гребнем расчесываясь на заре: откуда знаешь, путевые или нет. Я же покуда в койке лежал и чадил, не желая подняться — к чему, мне некуда больно спешить. Отбояривалась, а пробы уже негде ставить на ней, и гребень — однажды я пригляделся — не тот, я который на Воздвиженье презентовал. Скопидомничал, унижался по дальним дворам, дабы приобрести, отказывал в необходимом себе листобой напролет, а пригляделся однажды — другой. Я задумался. Прахом скукожилась наша приязнь, отвалить бы в бега — ни мешка, ни сумы, ни обуви. Но не здо́рово могуч, привязчивый: вместо этого вызнавал, уговаривал. Что это, Орюшка, за гребень особенный такой у тебя? Гребень как гребень, сквозь зубы, шпильки-заколки зажав в зубах. Хм, а мой-то, даренный мною тебе, бережешь неужели же? Как же, как же, в музей снесла, ловко она осаживала меня своим языком. На путях, лукавит, утратила гребень тот, и вся недолга. Никнул я, словно флажками ошарашенный зверь, вызнавал, ударяясь в сомнения: хм, а этот-то, в таком разе, с какого пятерика у тебя, подарил разве кто? А заря, замечаю вскользь, занимается и в окне, и в зеркале, отдавая в первостатейную переливчатую лазурь, и Орина, она прямо купается там, гибучая, плещется, точно в обетованном нами пруду

черт-е знает которого лета, в июле примерно месяце. Между нами до близостей еще не дошло в те дни, все мудрила, отсрочивала — потом да потом, и я ждал и терпел, обнадеженный. И плавало, набухая водою, две кабельных катушки пустых, как и во многом другом водоеме. Сбросила с себя все материи на ракитов куст и выступает на край вне зазрения. Ну и что же, а мне с башмачным шнуром заколдобило, захлестнулась продернутая тесьма. Перервать бы — шалишь, категория попалась упористая. Словом, зубами я перетер; пока не выбыло. И стояла Орина в одном лишь грошевом бисере, а цены ей самой-то не было, днем с огнем таких бы искать. Не учел, сколько разных перепало мне до нее, но случайными радостями до искалеченья не был я обделен ничуть. Да те радости, право, — и смех и грех, все с ужимками, все колготя́тся, норовят дашь на дашь, продешевить опасаясь, будто я им, шикарам, действительно мог чего-нибудь предложить взамен, дурень стрюцкий. И главное, когда угомонишь, наконец, то и тогда как-то все сикось-накось, скулемано, не вполне, да и нередко без настоящих удобств. А насчет показать себя уделить — никогда, ни за какие коврижки: миндальничают. Орину же осознал я вдруг во всей простоте, ну и восхитился, конечно же. Я не вытерпел и дал про это понять, спев куплет из одной распрекрасной арии. Идут тебе, дескать, любые цвета, но лучшее платье твое — нагота. Лучше б, однако, поменьше я перепелом бы влюбленным бил, а побольше бы дальше глядел; может, и углядел бы, кроме насущного узла на тесьме, узел грядый и другого немножечко сорта — где сортируют товарняки, узел, значит, чугунки, с различными его семафорами и хитрыми штучками-дрючками вроде смазчиских крючьев и смазчиков самих по себе, ловко без мыла лезущих куда не след. Тот-то узел мне — благо сполохи полыхали — развязать повезло, а с сортировочным — пусть там все

ночи полные огня — грянула неразбериха, непостижимая никакому уму. Но пока, повторяю, стояла Орина бела да ясна, словно шашка в сияньи месяца. Если честно, то в целом терпелось, но мне не терпелось, я помню, скорее узнать, что там было у нее да с кем, да когда, то есть, выведать ее подноготную. Недостаточно тебе, блудливый Илья, просто женщину охмурить и принудить, ты ведь, как паук неуемный, вытягиваешь из нее по капле признаний настой, силу жалости в нем беря, чтобы вновь приступить и принудить. Постояла Орина над самым прудом и вошла, и я, разоблачившись, нырнул. Я нырнул глубоко, разомкнув мои вежды; смотрю — обливная глазурь. Глазом мира был этот пруд с катушками, опалом шлифованным в оправе глин синих, купин ивы и тин длинных был он. А караси-то где тут у нас, мне взбрело вдруг. Прищурился — дремали в ямах, в тени берегов, под корягами. А улитки, то бишь, ракушки двустворчатые? Я люблю их. Скитаясь по долгу службы с одинокой гармоникой или с точильным ножным станком, странствуя в долине ненаглядной Итиль-реки, задрипан и собственному сердцу обрыдл, я последних едал без меры. Да хороши ли на вкус? Видите ли, за похвалою не постою: объядение. В местности глухой, где спасается древнеющий люд-глухарь, которому вся твоя филармония вне надобности; или в области тупой, где никто ничего не сечет, не режет, не рубит из-за лени повальной; в местности тупой и в области глухой к исходу напрасно изжитого света, когда людям играл, а они не вняли, иль домогался, поточить ли не требуется то да се, дабы иметь на пропитание с них, но не вынесли ни малой даже иглы, разузнай у старого коромысла дорогу к воде и канай, пустобрюхий, к ней в гости, что к теще на званый борщ. Ты хромай большаками на единосущной ноге, ковыляй заливными лузями, осененный блестким узорочьем. Что такое, что это, словно бы, засветилось

там тускловато так, словно бы, тля блудящая на кладбище Быдогощ? Что засквозило в чапыжниках серебром наподобие как бы того, как сквозит алюминиевый котелок твой недраенный в прорехах нештопаной сумы твоей? Что это там полыхнуло кубовым холодным огнем, будто бы из-под купецкой полы на базаре сосуд гусь-хрустальный с сиволдаем бесценным в очи твои суховатые полыхнул? Что это там развевается впереди сарафанной рюшью, плещется тещиным языком? Что да что, ишь — чевокалка какой выискался, беда мне с тобой. Волчья река это, паря, твоя родня. Ты скажи ей: ау, старша́я, напои меня, огорченного, текучей собой, накорми перехожего своими ракушками, мне их побольше дай, они приятны на вкус. Их предоставь лишь, а соль и спички имею с собой всегда, ну и спать, разумеется, уложи вдоль течения, камышек под затылок помягче сунь. И она говорит: для тебя мне, Илюша из Городнищ, ничего, если разобраться, не жаль; например, воды — хоть залейся; и такое же положение с ракушками — кушай и не считай. А камышек — хочешь под голову, хочешь — на шею дам, отдыхай тогда на здоровье хоть до Страшнеющего Суда.

2. ЛОВЧАЯ ПОВЕСТЬ

Жить; знать цену глубоким галошам в пору разлива глубоких и мелких рек. Быть; мусолить жирно-зеленый лист. Жить, быть и видеть, как по канавам жухнет лопух. Жить-быть; по мере змеенья зимы меняться оттенкам ее слюдяных чешуйчатых крыльев. Жить-быть — пускай переливаются перламутрово: любая сосулька, любое перепело́. Марии — трубить в пастуший рожок на железной дороге, а той — торопиться на север в пятнадцати минутах спокойной ходьбы на закат. Ходьбы по аллее, восставленной перпендикуляром к насыпи — на восход. На югосклоне ж, над городом, вследствие значительных дымочадных, коверкающих горизонт, работ всегда иметься в наличии выбору вяленых и копченых туч. Рисовать отдаленные силуэты сотрудников почт — почтальонов, охваченные отчаянием и листопадом. Людям твоим — блуждать в парке твоем, а ненастьям твоим наступать, леденя их и раздувая полы их комиссионных крылаток. Марии — служить в высокой кирпичной башне, у самой границы станции. Служить, и голосу рожка ее, смазанному акварельным ветром, смазанному, словно звезда близорукого без очков, словно близорукая, без очков, звезда, — заведовать суетливой юркостью сцепщиков, тревогами стрелочниц, равнодушием машинистов. То были сначала фиксатые сцепщики, но позже, когда ее назначили главной в башне, их постепенно вытеснили степенные машинисты. Приходить ветерану дальнего следования, полушепотом, шепеляво жалующемуся на прохудившийся тендер, на расшатавшиеся шатуны, на дальность маршрутов следования. Деревьям, напялившим драные фраки сумерек, — качаться, махать ру-

ками в подражание дирижерам, пугалам и людям от ветряков — мукомолам. Метель, о ком многие думали еще через *я*, тогда как особым указом его давно передали Зайцу, на кого и безухое, оно столь походило, а не свойственное и не нужное Зайцу *е* передали метели, — она расходилась, разыгрывалась, делаясь неугомонной и неумолимой. В бараках гуляли. Ах, как кружится голова, пела в комнатах предосудительно ветреная шансоньетка, и круглые фото ее, наклеенные на пластинки, вертелись, насаженные на патефонные кукиши. Рисовать по памяти дно оврага, поросшее папоротниками, дамбу, подпирающую хранилище питьевых вод, рисовать все хранилище, загроможденное реквизитом всевозможных регат в сезон арбузов и моросящих осадков в виде кружочков и палочек, и матроса-читателя, что по капризу художника пусть сидит, поставив торчком воротник бушлата, на каменистом откосе дамбы, курит трубку и читает синюю книжку — про море. Пейте и закусывайте. И сама пила и закусывала. Звали Марией. Машинист пил, закусывал, звал Мариной и пережевывал то же самое — дорожное, железное, скучное, переливая из Орехова в Зуево. Постоянно летели подшипники, горели буксы, сообщались показания манометра, и перед каждым мостом, перед каждым тоннелем неукоснительно захлопывалось поддувало и открывался сифон. Рисовать пассажирскую станцию: облупленный павильон с конусовидной фальшивой башенкой, пивной ларек с чередою темных плащей и зеленых шляп, рисовать остатки монастырской стены, виадук и участок шоссе, и пруд у подножья высокой насыпи. У соседей наяривала тальянка, и венгерка ли, полька ли, то ли кадриль громила трухлявые перекрытия. Гвалту — вываливаться распаренно в отверстые фортки и тряпьем пастельных тонов — застиранным и дырявым — повисать на бельевых веревках, а после, сдутому ветром, разлетаться по парку

стаями галок, ворон, рассаживаться по ветвям, гомозиться — несусветному, отчужденному, и выжимками тишины, ее сгустками, падать потом в аллеи. Поземке — сметать его останки в овраг, в синюю муть стремнины. Я люблю тебя, мой старый парк, перевернутая на другую сторону, совершенно заезженная и томная, признавалась артистка под лестницей, в усеченном чулане картонажного мастера, собиравшего, к тому же, фантики от конфет. Рисовать тяжелый, невнятный и неряшливый лик Марии и нередко вместо желаемого портрета неопытному рисовальщику — получать изображение как бы ее маски, и маска хотела проснуться, ожить, но мучительное летаргическое бессилие оказывалось сильнее вялых ее желаний — не просыпалась. Но видел, видел — по мясистым губам, по налитым оловянным векам скользили зарницы тайного. Станет явным заполночь, когда сквозь сон услышишь, как во дворе шепотом забредит дождь-машинист и вся земля, опьяненная, отравленная настоем осени Маша, горестно покорится ему, приемля его настырное мелкое семя. Позже человекообразной тени ее бродить по стене в поисках погремка спичек и папирос машиниста. Казбек или Казбич? Во всяком случае, если бы у него был табун в тысячу кобылиц, то отдал бы его весь за одного Азамата. Но если бы та девочка, что ходила с тем юнгой на ту поляну, куда матросы водят качать на качелях веселых подруг, если бы она согласилась пойти туда и с тобой, то и с тобой высоко на качелях она бы, наверное, подлетала, и взвизгивала бы высоко. Ты стоял в чернолесье, незримый. Был ни вечер, ни свет, а на хранилище еще — паруса, и тренеры на моторках хрипели в рупоры приказы гребцам. Взвизгивала, словно чибисы в поле, когда идешь в полумраке через, расставив капканы на лис, дорожа настоящим, обещанным машинистом ружьем. Или когда юнга вел ее под руку к заброшенным стапелям, а чибисы летали, а

стапеля загажены, а дожди и время не успевают смывать, и время от времени — то дохлая крыса, то палая жаба, то мертвый сорокопут. Марии — выть, выбегая на дамбу, зовя домой, а ветру-фонарщику — задуть в темноте и задуть окончательно окна бараков: око за оком, одно за одним. Волнам — взбодриться. Другому юнге, табакуру с молодых-юных лет, по-стариковски кряхтя седлом, жужжа динамомашиной и фарой светя, прокашлять мимо на двух колесах в сторону истечения увольнительных сроков. Мария шила. Шила Мария. Маша ушивала машинисту шинель. Машинист был рад. Он сидел на тахте и читал расписание движения поездов. Или график. Гроза приближалась. В зарослях трубчатых хрупких растений, чьи открытые переломы пахнут первыми заморозками, в зарослях у гнилого ручья квакши пророчили вселенский потоп. Там, в овраге, однажды — *ее* тетрадь: полуразмытое имя. Содержала страдания по русскому языку. В частности сообщалось, что папа купил Николаю коньки, что белка грызет орехи, что внучка молодая, а бабушка наоборот, что сестра играет на пианино, а брат на бала — но вместо балалайки до середины тетради тянулось сплошное, непрерывное балабала — болеро прыщеватой барачной жизни, подслушанное и записанное возлюбленной отрока с малокровным незваным челом художника, кому годы спустя на упреки особой комиссии, что им до сих пор не предложен ее вниманию удобоваримый отчет об охотах в облаву, точнее — об обстоятельствах, сопутствующих возвращению охоты с облав и, по сути, являющихся непременными атрибутами возвращения — ибо не обстоятельства ли определяют и обуславливают весь ход и облик явления, не ими ли живо оно, и что есть явление без сопутствующих обстоятельств, — на упреки комиссии возражать: не усматриваю действительных оснований, в силу коих мои впечатления о такой заурядице способны были бы

реальным образом стать полезными в работе инспекции, отчего и желал бы оставить их исключительно при себе. Впрочем, если вы так настаиваете — извольте. Мы возвращаемся в сумерках. Вы, полагаю, уже представлены, или, точнее, имеете представление об этом замечательном часе суток и бесповоротно очарованы им мне подобно, обнаруживая, таким образом, недюжинный вкус, превосходное чувство цвета и склонность к меланхолической созерцательности. Нас, как правило, несколько зверобоев и до дюжины своры. Декабрь. Чтобы не кидаться в глаза ротозеям и не снижать картины своею неловкой, все еще городскою, походкою, я стараюсь держаться в конце процессии, почему и не вижу ни лиц, ни морд; только чей-нибудь профиль мелькнет на миг. Серые шляпы охотников — вы, верно, знаете этот тяжелый и плотный, но и ворсистый фетр наших провинциальных фабрик, на котором, сбиваясь в комки, так изумительно цепко удерживается снег, все равно — он ли падает на головной убор, или убор — в сугроб; серые шляпы охотников нахлобучены низко, что называется по уши, и вот — не различишь и затылков. Один из нас, помимо обычных доспехов — кинжала, ягдташа, копья — обременен общим нашим трофеем: лис затравлен был еще на заре. Полюбуйтесь-ка, кстати, на наших ублюдков и выборзков. Пугающе длинные, гадкие, закрученные по-обезьяньи, будто филипповские кренделя, оставляют ли их хвосты хоть призрачную надежду на благородство кровей. Что утаивать — жалок экстерьер моих гончаков: кожа да кости, и шерсть совершенно свалялась. Впрочем, есть одна пухловатая, рахитичная, с безобразно коротким щипцом — кикимора подстать тому поросенку, которого какие-то простолюдины палят над костром перед входом в таверну, куда, уверив, что вскорости нас догонят, наведались переждать очень сильный порыв лобового ветра некоторые стрелки. Стоит ли говорить

о том, что теперь мы находимся на перевале большого холма, обреченного, как и вся местность, рождественскому свежему снегу, и наши фигуры недурно контрастируют с этим фоном. Оставив таверну слева, мы почти миновали ее и начинаем спускаться в долину. Перед нами — давно знакомая панорама. Это — долина реки и город в этой долине при этой реке, и пруды, и скалы вдали, и небо надо всем перечисленным. Это наш край, мы живем здесь, и если одни из нас живут в городе, то другие — в деревне, за изумрудной рекой. Мы легко различаем плотину и мельницу, церковь и возы на улицах, библиотеку, и богадельню, и баню. Видим острую крышу инвалидного дома, точильное заведение, приют глухих и базар. А на льду прудов и реки — масса катающихся. Звонки их голоса и коньки, разгорячены лица. Там — буроватые, напоминающие мех неведомых зверей, купины оголенных кустарников и дерев; сям — прачки, полощущие белье в проруби. Есть еще вмерзшие в лед ладьи, и запруды, и птицы — о, масса птиц — и на ветках, и просто в пространстве, пахнущем сельдереем, — жароптицы, полинялые, выцветшие, или вовсе сменившие свой прихотливый наряд на скромное оперенье сорок и ворон. Что за чудесная, неотмирная такая страна, в восхищении застывает посетитель. Простота и неброскость ореховой рамы лишь подчеркивает очаровательную прелесть пейзажа и колористический блеск лессировки. Очерк наш, разумеется, не претендует на описание и оценку всех остальных, выставленных на вернисаже, картин: мы остановимся лишь у некоторых. *Автопортрет в мундире.* Полотно настолько своеобразное — просто диву даешься. Рассказывают, что, завершив работу, автор был прямо-таки потрясен глубиною своего самопроникновения; успех застает художника в совершенный расплох. Нелюдимо замкнувшись в ателье, располагавшемся тогда в оранжерее, он, сомнамбулически потеряв-

шись меж мелко цветущих фотиний и безразличных ко всему манекенов, и все повторяя — не верю, не верю, — упорно отказывается верить, что это не он там, в углу, прислонился к мольберту, а всего лишь изображение его, пусть и невероятно сходное с оригиналом. А когда близкие, с помощью садовника и закройщика высадив дверь, наконец, убедили его в его собственной оригинальности — разрыдался. Цветная репродукция *Автопортрета в мундире* украсит фронтиспис нашей монографии об этом выдающемся человеке, выход которой в свет с нетерпением ожидается изо дня в день. А как знаменательно, что появление на свет одного из тончайших, изощреннейших реалистов последнего времени совпало с такой замечательной датой, как пятисотлетье булавки. Сам артист полагал, что упомянутое совпадение отнюдь не случайно, и при всяком удобном случае подчеркивал его факт, усматривая в нем то жест Провидения, то перст Мнемозины. Скажем, в одном из стихотворений (будучи крупным поэтом, он создавал и поэзию) живописец с присущим ему стоицизмом неожиданно восклицает. Господа, в Лето от изобретения булавки пятьсот сорок первое, в последнюю пятницу ноября, часу примерно в шестом, в значительном удалении от каких бы то ни было столиц, посреди России, а вместе с тем — на берегу полноводной реки, некто нетрезво бьет в бубен. Сумерки уже растащили очи, затушевали перспективы и упразднили згу. Силуэт музыканта вот-вот растворится. Посему, кряхтя и путаясь в полах амзтараканского, отзывающегося полнейшей ветошью халата, страдая от холода, источаемого замшелыми каменьями погреба, содрогаясь от омерзения при виде многочисленных многоножек и увещевая икоту перейти на безропотных страстотерпцев Федота и Якова, выкатим на свет Божий бочку повествования — и выбьем, наконец, затычку. Так, уставясь в окошко в сравнительно поздний час одного из ничтожных и

будних дней еще одного промозглого года и пытаясь собраться с мыслями, философствовал герой этой повести. Вита синэ либертатэ нихиль, философствовал он, виверэтэ эст милитарэ. Он был несвеж и немолод.

3. ЗАПИСКИ ЗАПОЙНОГО ОХОТНИКА

ЗАПИСКА I
Впечатление

Оглянись! насекомых несметные
Кавалькады все тянет на мед;
Есть, однако, приметы заветные,
Предвестившие лета исход.

Не напрасно утрами янтарными,
Что прозрачней, чем кожа луны,
Мотылек шелкопряда непарного
Вылетает на поиск жены.

На базаре дешевка и сутолка.
Бергамотных? Пожалуйста, есть.
Ну, а если вы — птица, то куколку
Колорадскую можете съесть.

Детство грусть сама есть. Вон, на пустоши
Внуки дедушкин ищут табак,
Шоколадницу ловят, капустницу
И старинный поют краковяк:

Вот умрет наша бедная бабушка,
Мы ее похороним в земле,
Чтобы стала она белой бабочкой
Через сто или тысячу лет.

Во саду обстоятельства прежние,
Только астры цветут, а не мак,
И стрекочет кузнечик небрежнее,
И никем не беремен гамак.

Впечатление есть, что кустарники
Козыряют всей мастью червей,
И кагор на дворе у бочарника
Пьет когорта младых кустарей.

ЗАПИСКА II
Снаряженье патронов

1

Вчера гулял в бору.
Песок его стезей,
Его осот и лист,
И даже стрелолист —
Все сухо было. Я
Бранил себя за то,
Что мокроступы я
Обул бездумно и
Напялил епанчу.

Я ныне, прозорлив,
Сбираясь по делам,
Отставку дал и ботам, и крылатке.
Дождем грибным в пути застигнут был —
Бежал и прятался;
Придя домой, дрожал весь.

Бобылка укоряла: поделом,
Предупреждала — ноги тянет, ты же
Послушался собачьего хвоста —
Салоп отверг и чеботы отринул.
О неслух, говорила мне она, о дерзкий.

2

Есть ящик у тебя!
В нем ты хранишь все то,
Что требует ружейная охота.
Его без дальних слов
Открой и из него

Бери картонных гильз,
Ты капсюлей бери,
Придуманных покойником Жевело,
И в донца этих гильз
Жевела те вживи
И пороху напороши.
За дело!

Из войлочного резаных мешка,
Из катанка, из байковой пижамы
Вложи пыжи и дроби закати,
И все это опять заткни пыжами.

Сэр Френч сидит на стуле безголов.
Фельдмаршал мой, ты, видно, нездоров,
Стал джентельмен какой-то весь увядший.
Но кто посмел, неужто Жомини
Так шашкою махнул из-за Ла-Манша?

Сэр Френч на стуле медленно сидит,
А дроби номера — шестой да пятый,
Но потому, что ствол — калибр двадцатый,
Калибр патронов тоже двадцать два.

И дымен порох мой, как дедушкин табак,
Зарницы старости чело мне изумили,
И ходики идут, соображая, что,
Соображая то, соображая что-то.

Бобылка спит, наевшись киселю.
Пусть снится ей, что я ее люблю.

А мне — охота.

ЗАПИСКА III
Между собакой

Между собакой и волком —
Время для частных бесед:
Пусть незатейлив обед,
Все вы обсудите толком
Вместе с собакой и волком.

Как хорошо, что у пруда,
Сидя себе на дубу,
Дует Удод во дуду
И приговаривает:
Как хорошо мне у пруда.

Жалобно блеет дрезина
С тридцать четвертой версты,
Дали донельзя пусты
И выходной в магазине.
Скушно. И блеет дрезина.

Капнула капля из жбана,
Занял сверчок свой шесток.
Кто бы ответствовать мог,
Поздно теперь или рано.
Капнуло снова из жбана.

Все вы обсудите толком,
Было бы что обсуждать.
Да не прошествовать ль спать:
Вечер грядет больно долгий
Вслед за собакой, за волком...

ЗАПИСКА IV
Точильщик
(разговор с критиком)

Не спи на земле, занедужишь,
Не станешь и ног волочить.
Оставь, назоил мой досужий,
Мне снится, что храбрый хорунжий
Холодное выдал оружье,
И надо его наточить.

Люблю ли я эту погоду,
Когда разгуляется вдруг
И у́зрят простые народы
Явленье того ли Удода,
О вялотекущей свободе
Кремнистый крутящего круг?

Еще бы. Скажи, а на что же
Звучанье удодовых дел
В сей час препогожий похоже?
Похоже, что кто-либо гложет
Куриную косточку, может,
Которую ты не успел?

Забросив бразды просвещенья,
В халате, чалме, аксакал,
Над самым глубоким ущельем,
Точенье с журчащим теченьем
Сравнить поскорей, весь движенье,
Народный акын проскакал.

Какая промозглая осень!
Удоду теперь не дает
Покою не то, что не носят
Ему инструменты и косы,
А то, что никто не попросит:
Надень мою шаль и капот.

Об эту-то пору точильщик,
Точило, мурло, обормот,
Горюя, что он не могильщик,
Равно не фонарщик, не пильщик,
Не бакенщик и не лудильщик,
О родине что-то поет.

Се жизнь: к инвалидному дому,
Пред коим зимою — каток,
Удод подошел и хромому,
Точней, одноногому гному,
Горбатому, слепонемому,
Единственный точит конек.

Взгляни — и ступай себе мимо,
Чужая беда — не беда,
Тем паче, что неутолимы
Печали фортуной гонимых,
И если уж солнцем палимы,
Им ливень — как с гуся вода.

Темнеет; судьбою не рада,
Голодной Горгоной вослед
Глаголов угодливых стаду
Глухая пора листопада
Глядит — и ни складу ни ладу,
Ни собственно стада уж нет.

ЗАПИСКА V
Октябрь

Неужели октябрь? Такая теплынь.
Ведь когда бы не мышь листопада,
Можно было бы просто забыть обо всем
И часами глядеть в никудали.

И нюхать полынь.

Но приходится действовать, надобно жить,
О наличьи лучины заботиться,
И приходится ичиги беличьи шить,
Запасаться грибом и охотиться.

Потому что зима неизбежна.

Небрежно белея лицом,
Вот он я, мне бы только удода наслушаться.
Потрещи, покукуй, потатуйка моя,
Берендейка, пусто́шка, пустышечка.

Непонятно, куда и зачем
Некто с бубном бредет перелесками;
Бурусклень, бересклет, бересдрень,
Бересква, бредовник, будьдерево.

Козьих ножек свеченьем,
Фрагментами бранных фраз,
Частью речи, известной под именем кашель,
И уключин кряхтеньем,
Похожим на кряквы зов,
Приближается шобла волшебных стрелков.

Начинается.

ЗАПИСКА VI
Падэспанец
(воспоминанье о городе)

Музы́ка Моца́рта звучала
Однажды в саду городском,
Там дама беспечно скучала
Пока не известно по ком.

Среди молодых оркестрантов
Крутился проезжий корнет,
Ее он в буфет ресторанта
Пригласил посидеть tête-à-tête.

Падэспанец хорошенький танец,
Его очень легко танцевать:
Два шага вперед, два шага назад,
Первернуться и снова начать.

А вечером после тех танцев
Он стал ей как преданный друг,
Он ей показался испанцем,
И лицо ее вспыхнуло вдруг.*

А утром оркестр до причала
Дама проводила пешком,
Музы́ка с тех пор не звучала
Моца́рта в саду городском.

ЗАПИСКА VII
Почтовые хлопоты в ноябре месяце

Все отлетело: и листья, и птицы.
Эти — от веток, а те — на юг.
Скоро потребуются рукавицы,
Чтобы рукам создавали уют.

Правда, порош и морозов скорее
Сизым прелюдом к сиротской зиме
Близится час, обреченный хорее,
Брат ненаглядный суме да тюрьме.

Надо в связи с этим вязанку писем,
Или же пуще того — телеграмм
Связку отправить. Два слова: аз есмь.
Без промедленья. По всем адресам.

Надо отправить, пока не вечер,
Пока телеграфные зришь провода:
Аз есмь, пока не затеплились свечи,
Пока не заперли врат города.

Надо отправить. Но где чернила?
Сумерки, что ли, впитали их?
Аз есмь! А если китайцам, в Манилу:
Есмь аз? — прося консультаций, — Bin Ich?

Надо отправить их с грифом *срочно*,
То ли с гриффоном, то ль с клячей Блед,
То ль, оперируя термином почты,
Просто отбить их, как пару котлет.

Принял решенье и, мучим астмой,
Что-нибудь выпить сошел в подвал,
А когда вылез — уже, ушастый,
Первый кожáн во дворе мелькал.

ЗАПИСКА VIII
Бессоница

Нету сна ни в одном глазу
(Прав провизор, увы, — года),
На кой леший она сдалась,
С лентой плисовой вкруг тульи,
Эдак несколько набекрень,
А на первый взгляд — решето.

Вижу все, как будто теперь:
Сумрак в пущу мою вошел,
Это — тут приголубил, там — то,
И откуда бы ни возьмись
Шляпа выплыла набекрень,
Ухарский такой шапокляк.

Тонкий выкрался из ручья туман,
Полоз в таволгу спать уполз,
Иволга перешивала вечер на ночь.
Я прикинул: а вот кому решето!
Только, думаю, к чему набекрень?
И стоял журавль в камышах.

Я достал монокль, протер и вдел —
Батюшки мои, да это ведь канотье...
Кряквы из осоки вспорхнули — фррр!
Сколько же, если представить, с тех дней
Лет стекло в решето набекрень?
Прав, увы, провизор, и ах.

ЗАПИСКА IX
Как будто солью кто...

Бывает так: с утра скучаешь
И словно бы чего-то ждешь.
То Пушкина перелистаешь,
То Пущина перелистнешь.

Охота боле не прельщает.
Рога и сбруи со стены
Твой доезжачий не снимает,
Поля отъезжие грустны.

И тошно так, сказать по чести,
Что не поможет верный эль.
Чубук ли несколько почистить,
Соседа ль вызвать на дуэль?

Шлафрок ли старый, тесноватый,
Велеть изрезать в лоскуты,
Чтоб были новому заплаты,
Задать ли в город лататы?

Но вместо этого, совея,
Нагуливаешь аппетит
И вместе с дворнею своею
В серсо играешь a'petit.

А то, прослыть рискуя снобом,
Влезаешь важно в шарабан
С гербами аглицкого клоба
И катишь важно, как чурбан.

День, разумеется, осенен,
И лист последний отлетит,
Когда твой взор, вполне рассеян,
Его в полет благословит.

Из лесу вечер волчьей пастью
Зевнет на первые огни,
Но позабудешь все напасти
И крикнешь кучеру: гони! —

Когда вдруг — Боже сохрани! —
Сорвутся мухи белой масти.
Вбегаешь в дом — и окна настежь:
Ах няня, что это, взгляни!

Как будто солью кто посыпал
Амбары, бани, терема...
Очаровательно, снег выпал!
И началась себе зима...

4. ЗАИТИЛЬЩИНА ДЗЫНДЗЫРЭЛЫ

Это Петр, грамотей один слободской, повез что-то в город — продавать, покупать ли, не разберешь на таком расстоянии: далеко отошел я на промысел, да и лампа моя штормовая не слишком фурычит в чужих потьмах, и лета мои не для птичьего зрения. Петру — что, он в полном порядке, а вот Павел, племяш его, озабочен, письмо ему треугольное шлет. Прибывает турман их мохноногий на постоялый двор, видит — Петр с отдельными сторожами охотничьими винище употребляет немилосердно, в ко́зны режется, песни затеял шуметь. Турман Петра в темя клюет — приговаривает: ты, Петр, пить пей да дело разумей. Петр письмо берет, распечатывает, а в нем написано что-то. Дядя Петь, дорогой ты мой, там написано, дрозжи я уже не надеюсь, что привезешь, но надеюсь пока что, что в торговом отрыве от наших мест ты не жил на продувное фу-фу и про азбуку мечтал дерзновенно. Плачется слезно Петр в кубарэ товарищам: помогите советом, уж гибну я. Послан Павелом в Городнище не то покупать, а может быть и продавать, знаю только — по смерть меня командировать выгодно, и что нету сейчас ни товару, ни денег, а тем более необходимых ему дрозжей. Теребит с того берега: мол, как хочешь, а от пустопорожнего возвращения воздержись. Ну, дрозжей браговарных, возможно, у кого-нибудь и удастся заимообразно изъять, а вот жэ-букву где раздобыть, заколодило нам на ней, просветителям. Гэ-букву, Петр делится, выдумали без хлопот, она у нас наподобие виселицы, читай, потому что на виселице эту букву и выговоришь одну: гэ да гэ. Дэ — как дом, бэ — как вэ почти, вэ же почти как бэ, а вот жэ — та загадочна. В эту пору, траче-

ный седыми невзгодами и хлесткими обложными ливнями, в кубарэ задвигаюсь я, собственной своею персоной, пророк, час один светлый спроворивший в июле-месяце у христиан, — захожу, чтоб отпраздновать завершение напрочь и вдрызг неудачного промысла моего. Встретился в слепой местности некоторый слепец, и он вызвался проводить на роздых к воде. И поплелся за ним, ему доверяя во всем, но темнота нас объяла и он не заметил поэтому ямы ловчей и ухнулся. Сверзился вслед за вожатым и я, так как мой подпоясок связан был с подпояском его крепкой вервой, чтобы не растеряться нам. Вот и не растерялись, стенали с башками побитыми и с вывихами, вот и не растерялись, дурили мы, путь наш продолжая с трудом. Но не в добрый час веселились, товарищи по беде. Ведь когда развиднелось, тогда обнаруживаю, что завод мой точильный при падении пострадал пуще нас. Лопнуло генеральное колесо по всем линиям, и найти понимающего колесника или бондаря, чтоб дал настоящий ремонт, в той округе не представлялось возможностью. Отчего, настрадавшись точить на ущербной конструкции, изнеможен, возвращался на зимние я фатеры до срока. Брел с пустыми карманами, и в них ничегошеньки не побрякивало. И пока я так брел, кумекая, чем намерен платить в ресторации, колесо это главное портилось все ужаснее; стоял сеногной. Вне себя захожу во внутрь и приветствую присутствующих забулдыг. Обод мой при этом тогда окончательно репнулся и распался на обе части; я посмотрел: они лежали у ног моих. Проклиная незавидную свою участь, яростно я аппарат раскурочил, дабы вынуть из обращения крестовину со втулкой, которые смотрели без обода сиротливо чудно́. Вынул, бросил, и плюнул. И легла крестовина в аккурат промеж них, двух обломков, а те лежали в подражание как бы тонким двум месяцам, один к другому спинами, а лицами — туда и сюда: один — молод,

другой — Крылобыл, на ущербе. Тогда Крылобыл, егерь мудрый, о ком уже куплеты слагали в те дни, когда нас, Пожилых Вы мой, и близко тут не присутствовало, он, который значился здесь с самого начала начал, носил всегда наряды на рыбьем меху и варивал с покону веков сиволдай и гнилье, он восстал, месяцеликий, и обратился к Петру. Полно горе тебе горевать, Лукич: брошенное оземь нищим одним — не сокровище ль для иного. Присмотрись повнимательней, разве не искомое тобою легло во прахе тошниловки сей, кинутое Илией в небрежении. Петр егеря урекает, стыдя: игры ты над моим скудоумием изволишь играть, черта ли нам с Павелом в механизма точильного бросовом колесе, да и неизвестно еще, разрешит ли хозяин его забрать, может оно ему самому надобно. Крылобыл ученого учит в кубарэ на горе: я чужое имущество не хочу тебя учить подбирать, это ты сам умеешь, я тебя иному учу. Загадками ты говоришь, Петр Крылобылу сказал, загадками учишь, сказал Крылобылу Петр, ох, загадками. Выпили они затем. И прочие, за исключением Вашенского корреспондента, тоже приняли; последний же лишь облизнулся. Вот, сказал Крылобыл, рукавом занюхивая, что это за звук раздается у нас над Волчьей, когда кто-либо из наших точильщиков заработает на точильном станке, не же-же-же ли? Ну. Оттого я и спрашиваю, продолжал Крылобыл Петру: колесо от станка точильного, лежащее во прахе тошниловки сей и вывернутое шиворот-наоборот, не есть ли вид буквы искомой. Публика посмотрела и ахнула — ха, вылитое оно. Верно, верно ты учишь, будет нам с Павелом жэ, Петр радовался, жаль только денег у меня, радовался, нет, а не то выставил бы я тебе по потребностям. А ты голову шибко себе не ломай, Крылобыл успокаивает, не отчаивайся, взял да и подзанял у кого-нибудь. Да у кого же я подзайму, Петр отчаивается, если тут у нас все сами взаймы разживаются. А ты у

Манула пробовал разве просить, Манул его поманил. А Манул, разрешите рекомендовать, он до известного времени деньгами не пользовался, хотя и гулял, потому что угощался задаром, на шермака, раскалывая на этот предмет одну ничего себе телесами мадам, которая здесь, в заведеньи служила и егерю потакала во всем от и до, почему пенсион его имел возможность откладывать про черные дни. И когда они наступили, когда отчалила сударка манулова, вся соловая, на инспекторском катерке и оставила своему брошенке писульку: прошу не искать; то Манул направляется потолковать с инспектором в Иные Места, и года лишь три, как обратно. Ничего с ним не сделалось — опять загулял, но теперь уж по-черному и, подобно всем нам, приобретая за те же самые тити-мити, которые, однако, у него покуда имеются-есть, между тем, как у нас в портмоне кожемяковых капитальный конфуз. Петр подсаживается тогда к Манул-егерю и глядит на него из самой души. Тот с течением времени спрашивает Петра: чего это ты на меня загляделся, или не видал никогда до сих пор, и что ли глядеть тебе кроме некуда, и тому подобное. Да я, видишь, Петр оправдывается, средств хочу у тебя попробовать подзанять. Ну так и пробуй, Манул наставляет, а та́к чего зря глядеть-то. Петр Манулу на это выдает с прямотой: егерь-егерь, будь другом, займи мне в долг. Другом, приятель, тебе я побыть никак не могу, я ведь егерь, а ты — просто так верховет, но денег, не обижайся, дам — не выжига. И дает ему денег больших. Широко разгулялась публика на Мануловы сбережения, Сидор Фомич, и мне тоже кивнули: подсаживайся. Потому что ведь чье колесо-то репнулось, если вдуматься. Нету худа без не́худа, вот и Дзынзырэла с удачей вдруг.

И река на запрос отвечает: камень я тебе хоть под голову, хоть на шею — бери, не жаль, но в последнем случае

— не взыщи, ты ракушек уже не покупаешь на здоровье, увы, а они тебя — с удовольствием. Отзываюсь: повремени, я отчаиваться чуть-чуть погожу, мне ракушек давай нынче в сумерки. Ты пантофельн свой новомодный стяни, говорит, галифе засучи до предельной возможности и войди по колено в меня и броди постепенно, пощупывая подошвой грунт; гарантирую, отыщешь необходимое живою рукой. Поступаю по совету реки и вступаю в нее, текучую, и набиваю в конечном итоге суму переметную я внабой. Развожу в вертепе каком-нибудь костерок — жарю, парю, пеку, одновременно рубище сушу свое немудрящее, которым, слава Господу, владею еще. Великовато становится оно с году на год, сохну я, усыхаю в последние сроки да выживаю заодно из ума. Мне бобылка одна — каюсь, каюсь, сошелся с нею, не пробуждая заветных чувств, лишь бы иметь пристанище, лавку теплую или топчан: кости бросить: в мастерской-то сквозит изо всех пазов, ложе волгло, мордасти из углов налезают — бобылка та, мои туалеты великие перепарывая, объясняла, что плотью своею сохну, поскольку Орину не в силах запамятовать. Вы присохли к ней, подруга сказала, присохли, мне горько выходит с того. И во сне иногда облапливаете, тычетесь кутенком во все у меня места, а зовете ее — я в ревности. Лярву вашу навидите всем пропитым нутром квелым, а мо́зги с сопельками пополам из вас вытекают и по робе стелются, и ветры их сушат. В самом деле, Сидор Фомич, Вы ощутите при личном свидании, ощутите матерью мантильи моей — ишь, короста. Жалко вас, женщина скорбела о мне, участь бродячья ваша, ком вы травы сухой и гонимый, уж побыстрей бы Он вас к себе прибирал, чтобы не мытарствовать вам далее по миру, чепухи не молоть, не тиранить железы попусту, искры в ночах не сыпать, зорь бы не застить полезным гражданам, по изменнице бы уже не скучать. А то вывялит вам мякину вашу

вконец, будто рыбе той воблой, и станете вовсе глупо́й, словно малый на мельничке, мешком стебанутый из-за угла. Так скорбела, перепарывая шмотье, и далеко иеремиада ее разносилась. Я же полагал про себя, находясь в катухе дремном: ты надежды на скорый отход мой покинь, еще помаячу там-сям, еще помозолю гляделки некоторым чуток, постою над душой у некоторых, послезит еще к небу бельмо мое. Туторки-матуторки, вы, верно, помыслите, что это еще за катух там наметился. Что мне ответить? Катух как катух, только дремный. Есть сусеки в наличии, манатки разные, специи, снедь, мышеловок с полдюжины производства пружинной Санкт-Петербургской артели. Даже не верится: ужель и до главной столицы нужда докатилась в капканчиках. Есть и метлы, и веники банные, запасец свечей — все порядком, все чин-чинарем. Но помимо того подмечаешь особенность, есть матрац с начинкой из всячины. Наломаешься за день, накрутишься по дворам, по цехам ли, наведаешься на часок в кубарэ, сунешься после к злыдне под крылышко, а она — нащепите, ворчит, щепы, наколите дровец, а то ходом вы у меня, лежебок, с постоя вылетите. И приходится, скок-поскок у поленницы, тяп да ляп колуном. И единый свет у тебя в окошке — весна, апрель, поминай тогда, бабка, как звали дедку — зальется за Итиль до первых утренников. А пока что — куда же ты, юноша, денешься, и вьюга тебя, залетку, поедом ест. Нарубил, нащепил — и уж тут-то до самого ужина происходит у Илюши перекур с дремотой в катухе на заветной рухляди. Гутентак, а если не дремлется? Извертишься весь и, чтоб зря не лежать, затыкаешь прорухи образования. Изданиями обладаю не многими, но прелестными, давними. Есть меж ними одна и про мышь. Небольшая, не спорю, но ведь и барыня не велика. Жили-были, доказывает, старик со старухою. Ладно, уговорил. И была у них, якобы, птица Фенист.

Тоже не спорю, свободная вещь, уж на что небогатый окрест народ, но и то у отдельных собственников нет-нет да поселится на антресолях ряба-другая. Да недолог, как правило, недолог, к несчастью, малых сих век. Где-то, вероятно, и долог, да не у нас по Заволчью. Кстати, послушайте, не знаю, как Вы, исследователи, — мы, точильщики и егеря, полагаем Заволчьем такие места, которые за Волчьей лежат, с которого бы берега ни соблюдать. Поясню на примере. Снаряжает Илью бобылка по поздние какие-нибудь сморчки — на соленое ее, видите ли, потянуло. Выклянчил я у артели артельский челн и поплюхал в Паршивый бор, Вы же в городе остаетесь, хоть я Вас, вне сомнения, и приглашал: мол, составьте компанию. Впрочем, не ясно, лукошко имеете ли. Но если и нет — не проблема, попро́сите у людей на понос, фигурант Вы солидный, отказ удивителен. Тень, однако, на прясла чтобы не наводить и предприятия не усложнять, я бы — когда просить станете — я в месте неявном бы переждал. Я за то беспокоюсь, что, если они осознают, что Вы со мной по грибы отплываете, то в глазах городнищенских как бы вам не упасть, паче чаяния, в грязь лицом. Переждал, переждал бы, щавелю на выгоне пощипал, хрену дикого надергал бы про запас. Не корите за любопытство, но Вы-то, простите за прямоту, Вы, сами по себе, корешок этот кушаете? Не стесняйтесь, лишь дайте знать, Ваше слово — закон, Вы еще моргнуть не успели — а я уже и на Вашу долю надрал. Ну и что ж, а сапоги, сапоги-то припасены у Вас? У меня-то вот нет, но на меня не равняйтесь, я — пример не из лучших, я от Пасхи до Покрова щеголяю босиком — обвык, подошву имею абразивную, вечную: бумага наждачная пята моя, но и то росы ранние пробирают ее. Однако не сетую, кое-кто познаменитее нас претерпел, рекомендуя и нам. Зато на Покров, когда грязи наши сплотит мороз, — сразу валенок я обул и мне анчутка не брат.

И как во́ды сковало — прикручивай вервием снегурок и шуруй. Так что что-что, а сапог нам, выражаясь окольно, не жмет. Тут Вы, может, насторожитесь в мой адрес: что сапога у точильщика нет — чуда особого тоже нет, но валенком с чьих щедрот он разжился? Приоткроюсь, подтибрил я некогда обувь.

Холод, голод повсюду, поземка, тиф — все, что хочешь, а с валенками — дефектив. В отделении, правда, надо отдать ему должное, пара была — да одна на всех, чтобы попеременке в них пациенты могли променады соображать. Я обычно с коллегой одним соображал на двоих. Скажи подфартило: у него этой нет, а у меня противоположной, и мы снюхались, как те бобики. Два сапога — пара, нас с почтением все узнавали вокруг. На перевязку, пилюлями ли у сестры отовариться, к тетке ли из дамского примениться в углу — всюду вместе шустрим. Куда, поется, правое копыто, туда и левая клешня, причем, там скорее на первое тянет, а тут на второе смахивает. Незаменимы один одному оказывались мы и в часы упомянутого променада. Действительно, много ли на дворе студеном индивидуально сообразишь — печалище. Иной доходяга ходячий побродит пяток минут, полюбуется на липы сиротские, вспомнит про отчий сад — и с него уж достаточно. Возвернется, насупленный, валенки снимет, швырнет: кто со мной шашки двигать, опрашивает, делая, как бы, улыбку ртом, а тоскливость его донимает. Взгляни, будь добр, в глаза мои суровые, взгляни, быть может, в последний раз — такова его философия. У меня же с коллегой — обратная. Пару эту мы запорошенную руками, от радости торопливыми, разберем, напялим каждый его, и поскакали на воздух. Распрекрасно снаружи — родина. Вроде — мать, но хитра поразительно, охмуряет. Поначалу все кажется — земля как земля, только бедная,

нету в ней ничего. Но обживешься, присмотришься — все в ней есть, кроме валенок. Ковыляем решительно к педиатрическим кущам — пожалуйте: тут и горка вам ледяная, и крепость снежная, как в Ботфортове у Петра Алексеича, и коты больничные, жирные, откормленные на наших харчах, щеки, что называется, со спины видать. Есть и санки угольные — тоже использовали. Накатаемся, исчумажемся, снегу за голенище себе наберем — поехали с пацанвой выздоравливающей в снежки. Ему и больно, и смешно, а врач грозит ему в окно, если видит. Дети нас сперва, особливо меня, сторонились. Еще бы нет, я и сам, покуда не примелькался себе, в зеркала опасался пялиться — шутка ль, рожа подобная, не говоря, что пижамина реет пуста. Постепенно, впрочем, ручными ребята сделались, привязались к нам даже, я бы сказал. Только и слышишь, бывало: дед Люша — так звали они меня — дед Люша, историю-то сочини, а на закорках-то — провези, а культю-то свою не таи, показывай. То есть, всю плешь проели. С тем же и к Алфееву они липли банными листиками, Якову Ильичу. Он же поэт, стихотворец, стишата им составлял отменные, далеко до него нам с Вами, Сидор мой, Исидóр. Я бы сочинения эти его привел, но боюсь — не похвалите, они с картинками, то есть, приличные не для всех. Например, поэма про пса бездомного. Стукнулась-де сучка дрючкой об забор, больно этой штучке, сделался запор. А далее мне даже зазорно, Фомич. Представляете, подошли к собачке трое кобелей, сделали что надо — стало веселей. Ну Вы подумайте! И тому подобные номера. Вот уж радости спиногрызам-то нашим было. Позанимались, побалагурили с детворой — уже потетени. Пора нам, следовательно, в театр. В зарослях особился, по́д номером раз, дом горбатый. Дом-не дом, а часовня из бывших с ампутированным крестом, и растенья белеющие, ивы что ли, склонились над ней, как анатомы. А табличка

старинного начертания вам сообщала: анатомический театр. Там у нас санитар знакомый дежурства нес. Задвигаемся сразу к нему в подвал: сторожуешь? показывай, давай, артистов своих. Санитар погреба́ нараспах — смотри, не жаль, за показы пока не взимаю. По историям заболеваний он их всех, как облупленных, знал назубок — кто отравился, кто раком сгорел, кого придавило, кто просто по глупости. Лет несолидных деваха, я помню, хранилась недели две у него. Тощеватая, рыжая, ключицы да щиколки, а волос всюду кучерявый у ней. Родственников не могли для нее разыскать, хоронить бы пора — осечка, некому. Симпатичная-симпатичная, и кончина ей — не кручина, усмехается — как ни при чем, и не тронулась телом ничуть, не в пример многочисленным. Смею надеяться, что серафимы хранили ее сильней. От озноба горячего она отошла, доверилась неудачно парнишке какому-то, но позабыть его вовремя не управилась — и прощай. Оря ты, Оря, печалюсь, кому же это ты не сбылась, приголубила бы лучше Илью на худой конец, тот, страшила, тебя, красотулю, от всех бы напастей отстранил, вот бы ладили. Ведь что такое несчастье и что такое счастие, когда задаться на миг? Несчастие — это если нет счастия, а счастие, Оря, это если несчастия нет. Погоревали и будет. Плесни теперь нам, голубчик дежурный, казенного чистяку, да перепадет индивидам малая толика от санитарии большой. Вечеряем, беседуем. Гостеприимцу — вопрос: как выдерживаешь в таком тарта́ре служить, ведь не грустно, не гребостно ль? Грубость есть, раздается ответ, паталогия — вещь жестокая, жалости к телу нашему не ведают посмертные лекаря, потрошат, не дай бог окачуриться — разделают под орех. И меди́чки молоденькие туда же — уж наблатыкались, цапа́ют за что ни по́падя. Но вы сами извилиной пошевелите, куда я с данной вакансии соскочу, где еще дармового горючего вам всем,

неприкаянным, нацежу. В свою очередь огорчается напропалую за нас — а как это ва́с угораздило, ежели не секрет. Я ему — так и так, и таким путем. А Алфеев, Яков Ильич, — в военные слухи ударился. Докладывает, что затеялась, якобы, кампания сильнеющая не слишком давно, и забрили его, как назло, на эти фронты воевать. В распозиции, вспоминает, девушка провожала бойца. Проводила, а там постреливают, там — командир бравый, шагом марш, разоряется, не то — пристрелю. Ничего не попишешь — пришлось шагать, ну и оторвало, конечно, и выбросило к лешему за фашины. Орал, признается, как резаный. Поэт, былинник был речистый Яков Ильич, аты-баты, докладывал, шли солдаты, аты-баты, рапортовал, на войну. Или более-менее гражданское, транспортное. Моя жена, говорит, в кондукторы пошла и с ревизором в тонкости вошла; что предпринять — пока не понимаю, но за проезд уж не плачу в трамвае. Ручьями струились в трупарне беседы обычно у нас, но протекли и они, просы́пались, будто песочек в часах. Все минуется, но достойное — в первую голову. Здравствуй, выписка, — ты грянула, разразилась. Так, в одно распрекрасное посещает столовку общебольничный эвакуатор, врач. Даже не столько врач, сколько врачина целый, амбал. Мы обедаем: ужинаем. Доводится до нашего сведения, что Сидоров и Петров завтра утром со всеми пожитками кандыбают на дезинфекцию, а затем с белютня́ми нетрудовитости хромают неукоснительно по домам. Дело швах наше с Яковом. Ибо это лишь краснобайства ради я здесь указываю — Сидоров, указываю, Петров. На поверку же оборачивается, что никакой не Петров, и еще меньше Сидоров в списке на удаление у живодера этого фигу́ровали. Там фигуровали Алфеев и Ваш покорный Илья. Полундра, Яков Ильич, я шептал, обрекаемся выписке. А он просит добавочной порции. Шеф же повар со злобой: чего, не налопался? Алфеев

смиренно: когда психическим состоял, мне фельдшер советовала: чуть неприятность какая, прими в себя побольше чего-нибудь — и все как рукой. Какая такая неприятность, повар толстая поэта бранит, жилы ты из меня тянешь. А такая, Алфеев без трепета возражал, а такая, что ку́ра, которая на второе была, старая, видать, вся попалась, вся в зубах она у меня завязла. Диву я дался в который раз. Откуда, откройте секрет, не тая, с какого такого шоссе энтузиасты у нас настолько неугомонные есть-пошли, ведь не вылупилась еще та ряба из земного яйца, которую той лечебнице жевать суждено. Нас чумизой откармливали доктора наук, а Алфей утверждает — завязло-де. А недолго, недолго, я повторяю, птахи малые эти живут, потому что осу им ни в коем случае не стоит клевать. Но турман Петруху в темя так не клевал, как они осу. А та — заразная, болезненная, и случается у пернатых мор. В книге дремной моей начертано: отведала ряба золотушных ос и снесла пожилым не простое, а золотое. Казалось бы, лучшего и желать невозможно — бери и жарь. Но все не слава аллаху за Итилем. Била-била старуха яйцо — не очень-то. Не преуспел и мужик ее, дряхлый стручок. Той порою бежала мимо по своим нехитрым надобностям относительно небольшая серая мышь, и она видит стряпчие трудности. Разбежалась, махнула хвостом и смахнула яичко на пол. То упало и — бац — и кокнулось. Я смекаю, смекаю, опять в недоумении Вы: для чего ты мне, потерпевший Илья, байку эту из уст в уста передал, что тебя побудило-понудило? Извинительно и мне, если так, недоумением Вас своим огорошить. А к чему, желал бы я знать, для чего они притчу вышеизложенную составили-то вообще, в чем, я спрашиваю, бывальщины соль? В том, что мышь человека сильней? Ой ли, подобного даже в Заволчье нет, а уж не там ли немощные старики живут-зажились. Или что? Что мышей, может быть, нам всем следует охра-

нять, что они пригодятся разбить по хозяйству чего-нибудь? Об этом придерживаемся мнения сугубо собственного. Как изводили искони — так традицию и блюдем. Разве царевны-лягушки они? Корыто, что ли, разбитое голосом человечьим сулят? Не велите казнить, Фомич, но не понимаю я намеков подобных. То ли дело — капуста, коза да волк, вот это, я понимаю, загадочка. Но не теперь — ныне выписка мучает. И выдает злообразная повар добавки Якову Ильичу. Мы кушаем полопам и задумались. На дворе вьюга чистая, колтуны палисаднику вертит, а у ребяток с валенками просак. В довершение всей ситуёвины и специальности не держим какой бы то ни было мы в руках. Куда, фигурально соображая, на учебы податься? Выйдешь, выпишешься — изметелит тебя метелица, словно метельщик поганой метлой. Ё-кэ-лэ-мэ-нэ, мы задумались. И Яков промолвил: любыми путями валенки нами любимые должны мы из отделенья убрать, прилепились мы к ним — тем более, что с калошами. Что ты имеешь в виду? — я спросил. Я бокогрей имею вдали, когда цыган-хитрованец цыгейку в комиссионку понес, когда грязь-слякоть, а мы — на лыжах. С полуслова я понял товарища и предлагаю до выписки, без всяческих контрибуций ноги отсюда умыть. А доку́менты? Чего тебе в тех документах, бумажками сыт не будешь, в частности, если липовые. У меня хоть и настоящие, говорит, но не мои, за другого я Якова на позициях был, бро́ню ему свою в трик-трак профиршпилил. Полистали для виду журнал Свиноводство и Мо́лодежь и намыливаемся, как бы, гулять. Коридорный прищурился и додул: отваливаете? плакали, стало быть, валенки коммунальные? ладно, берите, страшнее не обедняем, с единой парой кашу тут все одно не сварить. Мы откланялись и — в партер: санитар-санитар, дай нам хламиды какие-нибудь, не в пижамах же до мест назначения добираться. И вытряхивает Иван из каптерки одежд —

ворох ворохом: налетай. Сколько ж душ добродушных по подвалам у нас сыроватым рассеяно! Благодарствуй, медбрат дядя Ванечка, тароватости твоей мы племяннички. Объяснял: поновей туалеты приносят артистам родичи, а обноски с испугу нередко не требуют. Выбрал я тогда себе галифе адмиральское голубое, парадное, выбрал в тот раз чиновничий шапокляк набекрень и кирпичной расцветки жидовский шевиотовый лапсердак-с. Полагаю, не промахнулся, материи все три ноские, по сейчас единственный мой обмундёр представляют собой. Что Алфееву показалось — не вспомню теперь, а душой кривить презираю. Уж не моднеющие ли в полоску брюки он взял, муар-антик, не клетчатый ли куртец, драп-жоржет. Обрядились, одернулись — бывай, щедрявый, и попилили дуэтом подальше от этих бинтов, наведя заведомо справки о нужной станции — даешь вокзал. Прыг-скок, прыг-скок, баба сеяла горох, мы давали, картузы нахлобучивая по-залихватскому. Но и кутерьма буревая давала нам, понимаете ли, прикурить.

5. ЛОВЧАЯ ПОВЕСТЬ, ИЛИ КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

Яков Ильич Паламахтеров (вот, кстати, его *Автопортрет в мундире;* впрочем, стоит ли переписывать такие громоздкие полотна, не имея к этому сколько-нибудь заметных способностей и наперед понимая, что посетитель лишь мельком взглянет на копию как на скучнейшую здесь деталь, дабы немного спустя, все более забываясь и путая действительное и воображаемое, уверять себя то и знай: да, так, именно так все и было; и, оценивая себя со стороны или в зеркале, оставаться совершенно довольным своими — то есть нет, погодите, его, конечно его, героя, поступками и чертами; перемалевывать автопортреты в мундирах! увольте) Яков Ильич Паламахтеров порывался не подавать виду. Напрасно. Трудно вообразить себе человека, который в своем неумении мимикрировать менее напомнил бы бразильского охотничьего паука или горбатых патагонских сверчков — см. Карус Штерн, *Эволюция Мира, Werden und Vergében,* перевод с немецкаго, Том III, Издательство товарищества Мир, Москва, Большая Никитская, 22, Типография товарищества И. Н. Кушнерова и К°, Пименовская улица, со двора, во дворе немощено, грязь. С подъехавшей повозки двое типографских в фартуках, вымазанных невесть чем, спихивают прямо в лужу бумажные рулоны. Порождаемые их падением брызги немало забавляют работников. Ополоснувшись, рулоны один за другим раскатываются по двору, одеваясь дюймовым слоем суглинистой жижи. Заметив безобразие и раззор из окна, что в третьем этаже, над аркой, отворяет фортку и на всю Елоховскую бранит молодцов направленный в Москву

нарочно по делам книгоиздательского товарищества Просвещение, что на Невском, петербуржский метранпаж Никодим Ермолаич Паламахтеров, прадед Якова Ильича. Перед нами — щеголеватый, немного слишком изящный субъект, успевший сменить дорожное на приличествующее визитеру платье (он в модной чусучевой паре и модном же, хоть и не чересчур, галстухе) и завернувший нынче с утра к своему давнишнему знакомцу и коллеге, который служит тут, у Кушнерова, и коего в кабинете теперь нет — вышел, но сию минуту будет назад, скажет только, чтоб начинали уж в две краски, заберет корректуру да велит самовар принесть: право слово, не все ж, майн херц, д'антр-де-мер дуть. Заслышав над головою громовые речи заезжаго Зевеса, типографские, оставленные нами внизу, принимаются скатывать всю бумагу в иное, каковое оне полагают сухим, место, еще более прежняго вымарывая себя и рулоны, причем движенья печатников до крайности суетны и принуждают вас думать об новоявленном аппарате мусье Люмьера, взявшего в прошлом году патент и — по слухам — выручившего за изобретенье свое, получившее с чьей-то легкой руки чудно́е прозванье синематографа, пристойную уже копейку. Завлеченный шумом, заходит с улицы во двор, изволит желтеть аксельбантами, побрякивать шпорами и, покрякивая в усы, воздыматься по черной, к несчастью довольно засаленной, лестнице, околоточный, добрый приятель московскаго, а некоторым образом и столичнаго, метранпажей; в сапогах, поперек себя шире, зато отменный картежник, ветреник, не круглый дурак выпить, при сабле — и вообще славный малый. Ба, Ксенофонт Ардальоныч, — завидев его застрявшим в дверях, восклицает ему навстречу наш визитер, — сколько лет!.. Много, много воды утекло, Никодим Ермолаич, возражал Ксенофонт Ардальоныч, шествуя встреч тому с распахнутыми объятьями, какими судь-

бами? И поскольку Никодим Ермолаич присаживается на один, постольку Ксенофонт Ардальоныч присаживается на другой венский изящный красного дерева стул, который, будучи приобретен товариществом за 9 р. с полтиною ассигнациями, немилосердно трещит при этом жестоком испытании, отчего дальнейшая целокупность частей его на мгновение воображается рачительному просвещенцу довольно-таки проблематичной. Однако тревога оказывается, как будто, ложной, и метранпаж облегченно выпускает из себя отменный клуб дыма, что дает Ксенофонт Ардальонычу повод заинтересоваться, членом которого клуба записан нынче его приятель, а заодно и сортом табаку, куримого Никодим Ермолаичем: гаванские предпочитаете? Выясняется, что третий год Никодим Ермолаич имеет честь состоять в жокейском и редкую неделю не посещает гипподрома. Что ж до табаку, то — угадали, они самые, в Бремене фабрикованы. Преприятственные — и легкость необыкновенная, и амбре, и все, что желаете. Да вот, не угодно ли, уж и обрезано. Благодарствуйте, мы по старинке пахитосками асмаловскими попыхиваем. Ах, напрасно вы, извините за прямоту, пренебрегаете, их ведь, знаете ли, сам Птоломей Дорофеич похваливает. Неужто, полноте! Вот вам и неужто; я, любезнейший Ксенофонт Ардальоныч, с Птоломей Дорофеичем, как нынче с вами — то есть необыкновеннейшего разбору души либерал; хотя и масон, якобы, и, сказывают, не последняя креатура в ложе. Как! Лгать, Ксенофонт Ардальоныч, оснований не имею — за что купил за то и продаю, а насчет гаванских и сомневаться не беспокойтесь, сам не единожды огню ему подносил. Вы что же, и на журфиксах у него? Скромничать попусту я, сударь, не любитель, отвечал петербуржец с тем непринужденным достоинством, коего сплошь да рядом не встретишь не токмо у незначительных, но и у весьма значительных у нас лиц, не

держу в правилах. Что журфиксы, отвечал он, забирайте выше, я там и на бенефисах свой человек. Тут поехали шибче. За окнами уносились таблички самоглавнейших прошпектов; на Дворцовой, с ног до головы обдав громадного городового, шарабан раздобара развернулся и, спицами зарябив в очах, вылетел единым махом на Невский — летел вдоль салонов и ресторации, мимо зеркальных витрин и миллионных фасадов. Болтали о новых часах Буре и об африканских бурах, сошлись на том, что первые слишком тикают, а вторые, хоть и бандиты, да молодцы — и не судите да не судимы будете. Заодно воспомнили о суде над грабителями швейцарского банка и о новом крупном ограблении колорадского поезда, причем Ксенофонт Ардальоныч не преминул вставить шпильку американцам: ох уж эти мне башибузуки, посетовал он. Едва заговорили о собственно башибузуках, захвативших в последнюю кампанию до сотни наших гаковниц, базук и протчих пищалей и варварски аркебузировавших плененных кирасиров и кавалергардов, едва коснулись до грустной темы о дюжине несчастных квартимейстеров и вестовых из улан и от канонирского состава, взятых заложниками и потонувших на трофейной французской фелуке, шедшей под италианским стягом и подорванной под Балаклавой турецкой петардой, едва упомянули обо всем этом, как в кабинете, обремененный целым бунтом гранок, является, наконец, здешний главный верстальщик, обряженный в скромный флер. На вшедшем, кроме нечищенных от Эрлиха штиблет, коих неухоженность свидетельствует лишь в пользу деловых качеств владельца, читатель обнаруживает род облачения, известного в нашем патриархальном быту как не то фижмы, не то пижмы, а может статься и вовсе брыжи. Чего это вы, Никодим Ермолаич, прямо с порога и несколько с упреком, только отшаркавшись с околоточным, бросает он, чего это

вы, как иерехонская труба вопите, даже в наборном слыхать. Помилуйте, Игнатий Варфоломеич, оправдывается просвещенец, вольно ж им первостатейную бумагу в лужах купать, благоволите свидетельствовать. Все трое — Ксенофонт Ардальоныч да Никодим Ермолаич с Игнатий Варфоломеичем — следуют к нишу. Да-с, бельвю, нечего сказать, заключает блюститель порядка, глянув на происходящее во дворе, а ведь замостить бы не грех. Куда, сетует типографщик, кто это вам на подобные пустяки деньги даст, в настоящих-то обстоятельствах. А позвольте-ка полюбопытствовать, милостивый государь, чем это вам наши обстоятельства не показались; и потом вы что же, кивая на гранки, продолжает дознание полицейский чин, прокламации изволите публиковать? Будет вам, батенька, укорял обескураженный метранпаж, протягивая собеседнику один из листов. Пробежав несколько строк, мундир небеснаго цвета впадает в неподдельную ажитацию: нет, вы только послушайте, господа, какую аппетитную маскировку наблюдали у одного бразильскаго охотничьяго паука, живущаго на апельсинах! Бразильскаго? — с любопытством настолько живым, что мыслится, едва ли не весь живот его сошелся на сем предмете, переспрашивает Никодим Ермолаич. Головогрудь его, цитирует Ксенофонт Ардальоныч, стала прозрачно-белой, как парафин, в то время как фарфорово-белое брюшко выпускает семь пальцевидных оранжевых выростов, изображающих тычинки померанцевого цветка. Под этим сказочным одеянием, читает далее околоточный, паук успешно творит свое смертоносное дело. Вы подумайте, друзья мои, что за шельма! Чудовищно, соглашается взволнованно невский гость, я не отыщу слов. Обратите внимание, ширит экскурс Ксенофонт Ардальоныч, а среди горбатых сверчков нам встречается ряд таких, которые до иллюзии походят на загнутые назад колючки, какие

носят на ветвях своих обитаемые ими легуменозы. А птичий глаз? Вопрос хозяина поставлен таким ребром и глядит такою контрадикциею к общему тону беседы, что Ксенофонт Ардальоныч с Никодим Ермолаичем прямо вздрагивают, будто кто из монтекристо тут выпалил. Знаете ли вы, витийствовал между тем Игнатий Варфоломеич, известно ли вам, государи мои, что есть птичий глаз? Я более знаю, что есть писчий спазм, нахохлившись воробьем, находится каламбуром приезжий полиграфист. Да не следует ли полагать, осмеливается рассуждать околоточный, что птичий глаз, говоря, разумеется, округленно, есть не что иное как глаз, с позволения выразиться, птицы, пусть даже и небольшой. Дудки-с, язвительно отзывается Игнатий Варфоломеич, личность вообще желчная и в высшей степени самолюбивая; птичьим глазом, победительно возвещает верстальщик, именуется род березового капа, что до того редок, в силу чего и дорог, что двери из него в вагонах Его Императорского Величества поезда оцениваются по сто семьдесят рубликов всякая. Ксенофонт Ардальоныч с Никодим Ермолаичем были буквально сбиты с позиции. Они до того смешались, что на минуту сделались Ксенофонт Ермолаичем и Никодим Ардальонычем: названная цифра сильнейшим образом магнетизирует оппонентов Игнатия Варфоломеича. И Бог весть, сколько длилось бы их смятение, когда б не привратник Авдей, заспанный мужик с смоляной бородою до мутных и маленьких, словно бы, птичьих, глаз и с мутной же бляхой, пришедший сказать, чтобы барин не гневались — самовар совсем прохудились и оттого чаю не выйдет, но, мол, если угодно, то имеется вволю свежайшего пива, взятого под залог у извозчика, купчую бы вот только выправить, а ежели к пивечку певичек прикажут, то чтоб велели теперь же курьера к Яру послать. Э, братец, да ты, я чай, не вовсе орясина, замечает соглядатаю участковый, — и вскорости стол не

узнать. Оттиски, гарнитура — убраны. На их месте — три стклянки с пивом, по мере расходу пополняемые из средних размеров боченка, с очевидной значительностью возвышающегося посреди скромнаго, пусть и не лишеннаго изысканности, выбора блюд: устрицы; немного анчоусов; фунта полтора зернистой; севрюжья спинка — не цимес, но и невозможно упрекнуть, что дурная; да дюжины три омаров. Цыганы припаздывают. Ожидаючи их, составилась партия в лото, и не кто иной как Ксенофонт Ардальоныч кричит нумера. Семьдесят восемь, кричит он. Милости просим, рифмует Паламахтеров, хоть и не выпало. Сорок шесть. И это есть, уверяет петербуржец, хоть у него снова не корреспондирует. Притворство Никодим Ермолаича столь мелочно, сколь и очевидно, и мы как-то вчуже конфузимся за Никодим Ермолаича; лукавство же Якова Ильича и вовсе шито белыми нитками. От рожденья владея пленительным даром художнической созерцательности, но будучи и застенчив, и деликатен, он то и знай порывался не подавать виду, что он таков, каким, естественно, просто не мог не быть, коль скоро владел тем, чем владел. Оттого-то, наверное, порывы Якова Ильича и оборачивались сплошными неловкостями и в этом виде вели не к желаемому, а к нежелаемому результату, лишний раз приковывая к одаренному юноше неотрывное, пусть и не всегда восторженное, вниманье толпы. Помните, как однажды, давным-давно, он опять зазевался, а порыв апрельского свежака не замедлил сорвать ермолку с его тщеславно посаженной головы? Что за важность, что улица, как назло кишевшая участливыми сердоболами, уличала героя, грозя: подберите, простынете! Он, подчеркнуто игнорируя окрики, тщательно не оборачиваясь, горделиво не оставляя вращать педали вперед и — цинически легкомысленно стрекоча шестеренками, цепью и храповиком холостого хода — назад, попытался тем самым предста-

вить все дело так, словно не имеет к нему никакого касательства, и не прекращал разъезжать — как ему непременно хотелось видеть глазами стороннего наблюдателя — меланхолически непричастно. Но знаете, некоторая избыточная сутуловатость, неожиданно засквозившая во всем субтильном (весь в прадеда, говаривал ему дед) обличии разъездного, умалила, даже свела на нет его хлопоты о беззаботности телодвижений, сковала, сделала их по-мальчишески угловатыми и выдала ротозея-рассыльного с его тщедушной простоволосой башкой на поругание черни: раззява, разиня — уличала и улюлюкала улица. И если бы то был, предположим, не просто сутуловатый стрекочущий разъездной, а настоящий горбатый сверчок Патагонии, то при столь же неважных способностях не подавать виду, он был бы немедленно склеван. Но к счастью то был как раз разъездной — разъездной созерцатель, посыльный художник, курьерский артист, и щемящее ощущение, что все вокруг в нашем неразрешимом *здесь* происходит и существует лишь якобы, не оставляло его в означенный вечер ни на минуту. Так, рассеянно посматривая в окно, или при рассеянном свете коптилки перелистывая Каруса Штерна — некогда представительного, солидного, а теперь отощавшего, траченного курительными и бытовыми порывами, но и поныне достойно собой представлявшего единственный том этой сравнительно скромной домашней библиотеки, — философствовал и формулировал Яков Ильич Паламахтеров, неподкупный свидетель и доезжачий своего практического и безжалостного времени.

6. ОТ ИЛЬИ ПЕТРИКЕИЧА

Чем вокзал ожиданий шибает бестактно в нос? Не сочтите за жалобу, псиной мокрой и беспризорной преет публика в массе своей. Разболелись от гололеда у нас подмышки, замутила взоры мигрень. Навещаем с устатку путейную тут питейную — лечимся. Ты куда теперь, Алфеева я спросил. Рассуждает: Россия-матерь огромна, игрива и лает, будто волчица во мгле, а мы ровно блохи скачем по ней, а она по очереди выкусывает нас на ходу, и куда лучше прыгнуть, не разберешь, ау, никогда. Верно, Яша, ау, все мы у нашей краи́ны светлой — как поперек горла кость, все задолжники, во всем кругом виноватые. А обычная мать, он сказал, у меня умерла, может быть, и отца постоянного я лишен в результате алкоголизма, слышал только, величали Ильей. Яша, милый, да может, я он и есть, небось, случались ребятишки какие-нибудь впопыхах, жизнь же тоже огромна. Допускаю, Ильич отвечал, но зачем ты в подобном случае мать забросил с концами, сына женщине поставить на ноги не помог, образования ремесленного ему не дал, подлец ты мне после этого, а не отец. И обиделся. Яков Ильич, я утешил, да ты не серчай, я еще, может, и не отец тебе никакой, охолони чуток, шибко не кипятись, шибко-то. Извиняй, говорит, погорячился, может, и не отец. А возможно, обратно примазываюсь, возможно, что как раз и отец, не известно еще. И поэтому пусть я буду тебе не просто отец, а отец-может-быть, может-быть-отцом стану приходиться тебе. Приходись, Алфеев изрек, мне-то что. Если так, на слове парня ловлю, то не одолжишь ли мне как папаше такому неточному на билет неплацкартный: займи, мне на станцию Терем,

к Отраде одной Имярековой. Просьба в денежке не отказать, выручай старика, или ты не плоть от плоти его, может быть. Яков Ильич при вокзале белугой ревет: батя, Илюша, блудущий мой, ты ж к мамане нашей нагладился, пусть она у нас и не в живых, может быть. Я смешался: зачем это непременно к ней? Потому, говорит, что на станции тоже работала. А фамилия, имя, инициалы вообще? А плевать я хотел на инициалы, вскричал, какие бы ни были, что ты, как маловер неродной. И купил мне билет до Терема. Облокотились взаимно мы на прощанье, облобызались — прощай-ка, не свидимся, преогромна волчица — раскинулась. Дал купюр еще он значительных, я их принял, пожамкал, затырил в валенок — и адью. Еду и маюсь: бедолага ты, Яков Ильич, сирота, жук отец твой, пройдоха, он помощь мамашке не осуществлял ни хрена, та же — поведения облегченного, и пробы на ней ставить — вряд ли, пожалуй, где есть, даже если и не та она Имярекова. Теремские — они ведь все оторвы приличные — что та, что двенадцатая, но все-таки еду к той, потому что двенадцатая ни на́ болт сдалась. Так я мыслил о родственниках своих, в бесплацкартном заплаканном томясь вместе с прочими, одержимыми, как и я, нищетой. И мотало на стрелках. На манер, как бы, брючины подворачивай вежды себе, заголяй и культю — чтоб чудне́й, и задвигайся в купейный: с тобой инструмент. Заводи моментально мелодию и заявляй поверх пересудов и переплясов колес, что не ведаешь мира, нет и отрады — постигло несчастие. И далее поясни, в чем суть. Однако о пропитании не заботься, не христарадничай, не канючь и не клянчь, ибо высокое звание народного индивида неси высоко, ведь и самый из нас страшнеющий лучше птах. А кого проймет — сам раскошелится. И начинаешь концерт. Протяну катушку ниток по зеленому лужку, отобью ли телеграмму моему милу-дружку. Вот она, разлюбимая русская

песнь, льется и плещется по всему помещению — а путь далек. А откуда, заинтересуетесь, гармония у тебя, Илия, что ли навоз Вы продали, Ваше Калечество? Нет, не продавал я навоз, и бабок столь исключительных, чтоб музыку приобресть, в руках не держал из принципа. Но не вершится свет настоящий без таких щедрых духом, как наш санитар. Завезли к дяде Ване в театр артиста окраин, жертву опасных бритв, парня в кепке и зуб золотой. И до того музыкант, вероятно, заядлый был, что сапоги у него — и те гармошкой, кирза. Заодно и трехрядка его с ним сам-друг доставлена. Заприходовал ее медбрат в пользу бедных, только, сказывал, предстает бандура вне надобности: как играть я попробую — так сразу и выясняется, что не умею: то руки дрожат, то голос срывается. А я, я сулил, я умею, лишь дайте. Вручают. Как дернул меха, как выработал перебор по пупырышкам! Сбацай наше чего-нибудь, санитар умоляет, рвани. Раз пошла таковская пьянка, запузырил я частухи на полный размах. Крематорий проверяли, беспризорника сжигали (дирекция какая-нибудь хитрая), дверь открыли — он танцует и кричит: закройте, ведь дует. Пляска бешеная их всех, кто там случился в подвале, взяла, инда Яков Ильич на одной, поглядите, уродуется. Дядя Ваня — тоже коленца откалывает, и слышу, как в райском обмороке: вижу, вижу, могёшь, получай ты шарманку эту с белого моего плеча.

А в поездах меня прямо захваливали. Один разъездной даже в купе зазвал — дай налью. А не гнушаетесь якшаться со мной? Тю, смеется, еще не с такими доводилось из одного корыта хлебать. Наполняет. Что вы меня искушаете, гражданин, а ну как не вытерплю? Сделай милость, валяй. Сам весь гунявый, как канталупа. Я опрокинул. Он выдает: на станции сидел

один военный, обыкновенный гуляка-франт, по чину своему он был поручик, но дамских ручек был генерал. Я — баянист головитейший, мелодию ему подобрал на ходу, в два счета. На станцию вошла весьма серьезно и грациозно одна мадам, поручик расстегнул свои шкарята и бросил прямо к ее ногам. И припев. Вот и я, будто в песне, попутчик сказал, был поручиком. Носил и газыри, и усы, но по замашкам и по ранжиру числился в попечителях. Но не то, что там ручек каких-нибудь станционных, нет, числился у себя в мандате попечитель-инспектором всех чугунных путей. И наливает, вообразите, армянского. Да вы трекнулись, три звездочки на беспаспортного переводить. Только пуговицами бликует. И поэтому, признается, мила мне планида железнодорожная, прикипел, грешным делом, люблю, извини, яичницу и промчаться в быстромелькающем скором. И куда же, ты думаешь, я направляюсь теперь? Не серчайте, я отвечал, я маршрутов ваших не в курсе, билетов вам не покупаю пока, Илие билеты самому пока покупают. Думаешь, я у брата, что ли, в Казани вознамерился погостить? — поручик допытывался. Кто вас знает, я к брату бы и сам с пристрастием снегом на голову, там дури сколько влезет, ешь-пей--ночуй, Мусю соседскую, если соскучился, можно на посиделки зазвать, с бредешком побродить можно бы. Бредешь так, знаете, по пояс в воде, а глина илистая — так и лезет пиявками между пальцами, аж завивается. Не говори, инспектор поддакивает, у самого, признаться, брат — пьяница. Что говорить, попечитель, брат — брат и есть, только не шлет он в последние сроки приглашений мне никаких, и что у него там стряслось — не пойму: женился ли, болен, кандалами ли где звенит? Зря сомневаешься, отвечал, ясно, ими. Но, по правде сказать, поручик, не припомню, чтоб он и прежде особенно часто строчил; нет, не часто он мне строчил, даже лучше выразиться — совсем никогда не писал.

В кандалах не попишешь, поручик кивал, в Кандалакше-то. Да, и голову на плаху, я вряд ли бы вам, пожалуй, свою положил за то, что имеется где бы то ни было этот братец вообще; подозреваю, что и в заводе его у меня нет, как ни жаль, — ни в Казани с Рязанью, ни в Сызрани. А ну, говорит, разреши я тебе за это плесну сызнова. И мы куликнули оба. А состав наяривает себе ни в едином глазу, режет ночь молодую, как острый норвежский нож, катит неблизко где-нибудь вязкой манульих глаз. В околотке той же самой ночи́ дремлет, кемарит по-тихому, прикорнул швейной иглою в омете оперированный транзитный, вроде меня, и ему поезд чудится нездешнего назначения совершенно. Ахти мне, батенька, инспектор вздохнул, в Сызрани родственников не проживает сейчас, вот в Миллерове — пожалуйста, в Миллерове — полное ассорти, крестная сестрина там недавно как раз преставилась. И представляется: Емельян Жижирэлла. Едрена палка, я выразился. И сразу обнял его, жирнягу, а он меня, худобу покорного. И высушили на брудершафт. Ну, зачем же ты не писал-то мне, я укорял, хоть бы открытку бросил, одноутроб еще называется. Ты с налету не гневайся, он объяснял, недосуг в Кандалакше письма было писать, в каталажке-то, лучше скажи, отчего сам родню забываешь: я, например, на поминках в Миллерове не припомню тебя совсем, или известия не получил? Получить получил, с вручением. Сей же час хватаю картуз, пролетку — и на вокзал. Подлетаю к солидному с саблей: где тут чего? Показывает. А у сабли внизу колесико, чтобы плавней волочить. Барышня, благоволите купейный до Миллерова. Сабля подобная пули сильней, ибо свинец нет-нет да и сплющится, но от стали уж не отвертишься ни за что, от стали-то. На перроне — культура: плевательницы, киоск. Восемнадцать минут. И нерешительность обуяла. Заявлюсь —пересудов не оберешься, вообразят, вероят-

но, не весть чего. Невдомек им, сквалыгам кровным, что не каждый обязательно жлоб. Илие чужого не надо, у него своего-то нет, но кому ты докажешь. Подавитесь поминками вашими, не поеду. Стою. Тут кондуктор трубит посадку, там проводник грубит, там бабка мятлушкой забилась в стекло: Димка-внук у нее, извольте видеть, до дядьки в Углич отчаливает погостить. Гляди, сиротка, без варежек в жару не гуляй. Сама ты, глиста худощавая, в оба поберегись, пыльцу бы тебе до срока не обтрясли. Что, папаша, к начальнику обращаюсь, отправку будем давать? А тебе почему интересно? — фуражку надвинул на лоб. Отвечаю, что особенно ни к чему, что я про другое желал бы спросить, а отправка сама по себе не тревожит ни с какой стороны, что — отправка, подумаешь, отправляйте. Про что другое? — надменничает. Вы на рысистых испытаниях присутствовали хоть раз? Не то слово — присутствовал, околачивался я на них, большие средства на тотошке просаживал. Помните, значит, как ипподром-то горел, искры так и летели, не так ли? Как не помнить, так и летели, даже заезд собирались сперва отменить. Собирались, только не выгорело это дело у них — понесли коники траверсом. Со старта, помнится, вырвался Поликлет, трехлетка каурый от Политехника с Клептоманией, но на второй кобылка Сметана первой зашла, а Поликлетка на третье переложился, но вот кто ехал тогда на нем — уронила память петлю. Уронила так уронила, путеец сказал, но на этом про лошадей, пожалуйста, завершим, а то отправку, будучи из пожилых, срывать не к лицу вам. Задаетесь вы шибко, папаша, нет бы, чем в колокол колотить, пулечку со мной записать по-быстрому. Тут сабля подкатывает: ну, что? Да что ж, пульку отъезжающий записать предлагает. Что же, это не заржавеет у нас, не колесико, лишь карты бы добыть некрапленые. Погодите вы с картами, он же просто отправку хочет сорвать. Помилуйте,

дежурный вспылил, прямо шпионство какое-то. Не казните, не повторится, мне, понимаете, колокол ваш думы былые на ум привел, на бегах до пожара висел — ну вылитый. Брякнуло, звякнуло — поехало неудержимо. Крокодиловой кожи заслуженный чемодан в те хитрые годы, пусть сам я не верю теперь, я имел. Почему, впрочем, хитрые — годы как годы, не хитрее других. Чемодан крокодиловой кожи, я повторяю, с замками, в те годы как годы, я, Дзындзырэлла, смею утверждать, имел. Я хватаю его — и дай бог ноги. Хлещет же — не передать. Шли, как известно, и дождь, и поезд, один на Миллерово, второй весь день. Милый брат, Емельян признается, как здорово шпарить нам к тебе в гости в Казань, ведь сколько не виделись. Погоди-ка, тревожусь, а почтограмму ты мне направил? Спрашиваешь, прямо с дороги. Да, бегу, стало быть, дебаркадером, догоняю вагон, а вскочить за отсутствием убеждений боязно. Полотеря в те годы как годы во всевозможных местах, я возил в чемодане мастику, тряпки, потертый фетр и швабры поросячьих щетин. Проводник мой с флажками в чехлах зыком благим из тамбура заорал: отцепись, вдруг сорвешься в просак ты, как многие. Не глумись, кастелянша, над пассажирской бедой, чтоб тебе самому сорваться. А Емельяну я сказал, что ау — не застигнет меня его отправление, и что зря, вероятно, спешит он в Казань — я не выбегу. Вам же, Сидор Фомич, пишу приблизительно следующее. Раз приходят некоторые к перевозчику, а тот спит беззаветно. Вот это, я понимаю — загадка, ибо это загадка, а не просто крестьянская быль. Не понимаю только, к которому перевозчику: два у нас перевозчика на Итилé. Тот — на той стороне зашибает, этот — напротив — на этой. Первый — Ерема по прозвищу Жох, второй наоборот — Фома, и без всякого прозвища. Кличут человека уважительно, по фамилии, и нечего огород городить, правда же? Погибель — лодочника

фамилья у нас. И положим, к нему и приходят: работа есть. Он проснулся — а что за труд? Зачем тщеславишься понапрасну, они говорят, будто перевоза помимо еще в некотором ремесле маракуешь. Учить себя никому не позволю, Фома заявил, выкладывайте лучше факт. А попечитель разбушевался, ногами топает, словно я виноват; я и сам-то себя, сироту, в Казани никогда не встречал, если искренно. А куда же я шпарю тогда, инспектор кричит, отвечай. Попечитель, мудрящих я ваших маршрутов не в курсе, но если проездной документ у вас на руках, то не сочтите за дерзость в него заглянуть — там указано. Быть безысходно в просаках — Ильи Джынжирелы удел. Чтоб тебе самому сорваться, проводник мой услышал мои слова. Так сказал ему сгоряча — а сам и сорвался. Что за комиссия, мол, приятель, оборвался, упал кулем под колеса и оттяпало бóсую ноженьку, будто серпом. Вижу — кто-то знакомый с клинком с поднебесных стропил слетает помочь. Серафим шестикрылый, дежурный, махни ятаганом разá, отруби-ка всего уж от настоящих мест: зельно болезен, озорный. И начальник подоспел пожурить. Вам-то что, позавидовал, санаторию себе обеспечили, а людя́м выговора по вашей линии получай. Не браните, мокропогодица ж, оскользаешься. Мысль: сорвалась, плакала, повидимому, экспедиция, улыбнулось Илье последнее целование. И опять я в просаке, когда, гордясь, поручику советую в билет заглянуть. Дуралей ты, он оборвал, попечитель билетов по званию брать не обязан, а когда и возьмет другой раз, то литерный и в любой конец, и гляди ты в этот билет, не гляди — все туман, и туда сего предъявитель отправился, сюда ли — ничего не понять, лишь плацкарта бьется купейная на ветру да талон на получение белья шелестит. Нет, не пыльно вы прилепились, земляк, но, видать, не всегда и

везде попечителям выгода. Получается, непопечителям иногда очевиднее, куда им путь лег. Взять того же меня, мне — к Орине, ее мне вынь да положь, направление к ней мне держится.

7. ЗАПИСКИ ОХОТНИКА

ЗАПИСКА X
По пороше

Рецептов бордосских пропоиц,
Что давят шато и де-кот,
Купаясь в точилах по пояс,
Не знает ликерный завод.
Но знает компанья бракеров —
Не знает уныньья зане —
Священную силу кагоров
С бордовым осадком на дне.
Немало баклашек хороших
Сего дармового питья
Привозят они по пороше
В ягдташах косого шитья.
Привозят закусок без меры —
Колбасы, консервы, сыры:
Бракеры мои, браконьеры,
Да здравствуют наши пиры!
Но вот загорелась — понеже
Тьма тьмущая перешла —
В беленом гробу побережий
Пуркарского негру смола.
Поскольку охотник желает
Узнать, где жирует фазан,
В ошметках собачьего лая
Нам чудится слово *сезам*.
Сображник! За дряблую щеку
Последний глоток заложи —
Пора уж. Жужжи в получоках
И в чоках, ветрило, жужжи.

ЗАПИСКА XI
Заговор

У Сороки — боли, у Вороны — боли,
У Собаки — быстрей заживи.
Шел по синему свету Человек-инвалид,
Костыли его были в крови.

Шли по синему снегу его костыли,
И мерещился Бог в облаках,
И в то время, как Ливия гибла в пыли,
Нидерланды неслись на коньках.

Надоумил Волка заволжский волхв:
Покидая глубокий лог,
Приползал вечерами печальный Волк
И Собаку лечил чем мог.

У Сороки — боли, у Вороны — боли,
Но во имя волчьей любви
От Вороны ль реки до реки ли Нерли
У болезных собак — заживи.

А по синему свету в драных плащах,
Не тревожась — то день иль нощь,
Егеря удалые, по-сорочьи треща,
Виверищ выгоняли из рощ.

Деревенский, однако, приметлив народ,
У Сороки-воровки — боли,
Проследили, где дяденька этот живет,
И спроворили у него костыли.

И пропили, пролазы, и весь бы сказ,
Но когда взыграла зима,
Меж собою и Волком, в дремотный час,
Приходила к Волку сама.

У Сороки — болит, у Вороны — болит,
Вьюга едет на облаках,
Деревенский народ, главным образом — бобыли,
Подбоченясь, катит на коньках.

И от плоского Брюгге до холмистого Лепп,
От Тутаева аж — до Быдогощ
Заводские охотники, горланя: гей-гоп! —
Пьют под сенью оснеженных рощ.

Как добыл берданку себе инвалид,
Как другие костыли он достал,
И хотя пустая штанина болит,
Заводским охотником стал.

ЗАПИСКА XII
Философская

Неразбериха — неизбывный грех
Эпох, страстей, философов досужих.
Какой меня преследовал успех,
Что я не разбирался в них во всех,
Вернее, разбирался, но все хуже.

Когда ж мне путь познанья опостыл
И опостынул город неспокойный,
Я сделался охотником простым,
А уж затем заделался запойным,
Со взором просветленным и пустым.

Люблю декабрь, январь, февраль и март,
Апрель и май, июнь, июль и август,
И Деве я всегда сердечно рад,
И Брюмерам, чей розовый наряд
Подчас на ум приводит птицу Аргус.

Теперь зима в саду моем стоит.
Как пустота, забытая в сосуде.
А тот, забытый, на столе стоит.
А стол, забытый, во саду стоит.
Забытом же зимы на белом блюде.

Повой, маэстро, на печной трубе
Рождественское что-нибудь, анданте.
Холодная, с сосулей на губе,
Стоит зима, как вещь в самой себе,
Не замечая, в сущности, ни канта.

ЗАПИСКА XIII
Валдайский сон

Накануне первых звезд
От угара плачу —
Мерзни, мерзни, волчий хвост,
Грейся, хвост собачий.
Дрыхнет Кот у очага
И храпит немного,
Из худого сапога
Вылезает коготь.
Снится этому Коту-
-Воркоту Валдая:
Сидят волки на мосту,
И Кот рассуждает:
Если б я Собака был,
Я любил бы Волка,
Ну, а если б волком выл,
По Собаке б только.
Погляжу ли из окна,
Из другого ль гляну —
Вся в снегу стоит сосна
На снегу поляны.
Идут ведьмы на погост,
О своем судача:
Мерзни, мерзни, святый хвост,
Грейся, хвост чертячий.
Все сине. И вся синя
Слюдяная Волга,
Едет Пес по ней в санях,
Погоняя Волка.

ЗАПИСКА XIV
Подледный лов

Ни рыбы-севрюги в реке не живут,
Ни рыба-хаулиод.
Чего ж я, как рыба-удильщик, тут
Раззявил над прорубью рот.

А ты бы, дядя, домой хромал,
Потехе, как говорится, час —
Зари обремканной бахрома
В Европу завесила васисдас.

Отзынь, Запойный, на три лапти,
Отбрил я себя сам,
Не лепо ли бормотухи хватить
С хлебной слезой пополам.

Кого это там еще Бог дает —
С лампою, на коньках...
Никак Алладин Батрутдинов идет,
Татарина шлет Аллах.

Ну ты и горбатый средь наших равнин,
Хирагра тебя еры,
На кой тебе лампа, чуж-чужанин,
В дремучие эти поры?

Якши, мармышка, поймал ерши?
Проваливай, конек-горбунок,
Ты есть наважденье, хвороба души,
Батрутдинов сто лет как йок.

Упал в промоину, катясь в кино,
И хоть выплыл, да через год:
В карманах чекушка и домино,
И трачен рыбами рот.

Выловили — не припомню числа —
Дед Петр и Павел-дед.
Чекушку распили, забили козла
И вызвали кого след.

Умчался. Право, такой стал плут.
А был — честнейший бобыль.
Ни рыбы-химеры в реке не живут,
Ни рыба, к примеру, горбыль.

ЗАПИСКА XV
Архивная

О, как мне душно будет
Когда-нибудь в пыли
Архива, его полок,
Эх, скушно будет мне.
Однажды и в пенсне
Нагрянет архивист.
Во мне он станет рыться,
Копаться, разбираться
В каракулях — найдет:
Рисунок и портрет,
В кунсткамеру билет,
И среди остальных —
Записку эту вот
И о себе прочтет.
И он смеяться станет:
Ха-ха, на весь архив,
Охотник архаичен,
Беда как неприличен,
Однако прозорлив.
И как он счастлив будет
Находкою своей.
И будет, просто будет,
А я-то уж не буду,
Ни в праздники, ни в будни,
Но как мне вечно будет
От времени вдали,
Вдали от обязательств,
В стесненье обстоятельств,
В удушливой пыли!

ЗАПИСКА XVI
Стих о прекрасной бобылке

Над кофейника носиком пар,
Словно капитулянтский флажок.
Нацеди кофейку, мой дружок,
Восхитителен этот навар.

Повевай, про Бразилию весть —
Аромат, что премного воспет.
Не беда, что бразильского нет,
Хорошо хоть с цикорием есть.

Нас так балует мало судьба,
Что и цикорию рад, как эрзя,
Ведь не сами ль мы чей-то эрзац,
И не наше ли дело труба.

Посему, не взирая на то,
Что бобылок прекрасных — полно,
Объявляю, что мне все равно,
Кто мне штопает шарф и пальто.

Оттого, хоть из лести не сшить
Лисьей шубы, скажу не тая:
Ты прекрасна, бобылка моя;
А портрет — так с него же не пить.

Неспроста перочинный вострю:
Близок ангела день твоего,
Подарить не придумав чего,
Шкуру вепря тебе отмездрю.

Завари же в преддверие тьмы,
Полувечером, мнимозимой
Псевдокофий, что ложнокумой
Квазимодною даден взаймы.

ЗАПИСКА XVII

К незнакомому живописцу

Старина! как сербу чизма
Из Хорватии тесна,
И как милая отчизна,
Или собственная тризна,
Зачастую нам скучна,
Так и наша укоризна
Вам, художникам, нужна.
То ли спутал ты, дружище,
Впечатленья от веков,
То ль писал ты Городнище
Совершенно без очков.
Ибо ловчие в кафтанах
И немодных башлыках
Мне по крайней мере странны,
А тем более — в чулках.
И не кончится забава
Ни добром и ни бобром,
Если выйдем мы в облаву
Не с берданкой, а с багром.
На котором, между прочим,
За спиною у стрелка
Все качается, всклокочен,
Образ волка-тумака.
Обстоятельства же наши
Ты повапил, словно гроб:
Позлащенные ягдташи
Сторонятся здешних троп.
И чресчур благообразны
Три красотки кубаре,
Опаляющие праздно
Поросенка на костре.
Мастер мой, та дульче вита
В осененье острых крыш,

О которой всей палитрой
Ты столь искренно скорбишь,
Перешла, быльем повита,
Но вороны те же; кыш!
Тем не мене — взор пирует,
Кинь его туда, сюда:
Приворотное чарует
Зелье неба, снега, льда.
В пору сумерек щемящих
Конькобежцев визг щенячий
Раздается вдалеке —
На прудах и на реке.
Был бы я купец какой-то,
Полотно бы закупил
И повесил бы над койкой —
Лег и сам себя забыл.
Но поелику пропойца,
Куплю зелена винца
И узрю твой жанр в оконце,
Из-под пятого венца.
Вот она, моя отчизна,
Нипочем ей нищета,
И прекрасна нашей жизни
Пресловутая тщета!

ЗАПИСКА XVIII
Преображение Николая Угодникова
(Рассказ утильщика)

Нет, не даром забулдыги все твердят,
Что по Волге нет грибов милей опят,
И напрасно это люди говорят,
Что водчонка — неполезный очень яд.
Это мненье, извиняюсь, ерунда,
Нам, утильщикам, без этого — никак.
Предположим, даже примешь иногда,
Но зато преображаешься-то как.
Раз бродили-побирались по дворам,
Выручайте Христа ради-ка гостей,
Выносите барахло и прочий хлам,
Железяки, стеклотару и костей.
Пали сумерки, и снег пошел густой.
Не бреши ты, сука драная, не лай.
Мы направились к портному на постой,
А с нами был тогда Угодник, Николай.
С нами был, говорю, Угодников-старик,
Поломатый, колченогий человек.
Мы — калики, он — калика из калик,
Мы — калеки, он — калека средь калек.
Нет у Коли-Николая ни кола,
Лишь костылики. И валит, валит снег.
Непогода. И галдят колокола,
И летят куда-то галки на ночлег.
А летят они, лахудры, за Итиль,
В Городнище, в город нищих и ворья,
А мы тащим на салазочках утиль,
Три архангела вторичного старья.
Час меж волка и собаки я люблю:
Словно ласка перемешана с тоской.
Не гаси, пожалуй, тоже засмолю.
Колдыбаем, повторяю, на постой.

А портняжка при свечах уже сидит,
Шьет одежку для приюта слепаков.
Отворяй давай, товарищ паразит,
Привечай уж на ночь глядя худаков.
Как засели дружелюбно у окна,
Ночь серела — что застираны порты́.
Не припомню, где добыли мы вина,
Помню только — насосались в лоскуты.
Утром смотрим — летит Коля-Николай:
Костыли — как два крыла над головой.
Обратился, бедолага, в сокола́:
Перепил. И боле не было его.

8. ЗАИТИЛЬЩИНА

Зачерпнул я, читайте, сивухи страстей человеческих, отведал гнилья злообразных обманчивых жен, и отрава едва не придушила меня. Сумерк длился, и морок был, а на рассвете открылась, как рана, неутишимая алчеба по чистому, по незамутненной воде. Препоясался я чем по́падя и пошел, выражаясь условно, на самую глубь, юля. Что есть счастье, и что есть несчастие, милый Вы мой? Не пасуйте, ответ незатейлив: счастие — это когда оно есть. Но не сетую, перемелется. Отзвеним неточеными, отболим кумпола́ми дубовыми, отдурим и отпляшем, и отчалим однажды по утрию в Выгодождь. То-то пито будет во имя нас, то-то слез лито, то-то воротов понарвут друг другу приятели на девятый день. Прежде мы провожали, плывя в челноках шумно, а теперь другим пировать следом в стругах, нам же тихо лежать на переднем подошвой врозь. Сам Погибель Фома ради такого случая стариною тряхнул — за весла сел. Он грести-то гребет, но и карманы нашего парадного обмундёра обшаривает втихаря босиком. Зря стараешься, дорогой, до тебя все прорухи обчистили, ни махорины нет. Что Вы, что Вы, не сетую — станет мука. Много бродил я, трудился и выбивался из жил, обаче более бил баклухи. Взматерел я и выстарел, залоснился и вытерся, как в обиходе хомут. Тертый калач прошлогодний я сделался, мозоль и хрящ, а не вечор ли был сдобою. Обернусь, заломя треух, оглянусь на себя, поспешающего в рогожке пестрядинным путем — высоко мне там, близко к Боженьке, там славно мне. Залюбуюсь. Кто я, спрашивается иногда, и кому. Брат и сват я

кому-то, кому-то кум, а бывает, что вовсе зять — ни дать и ни взять. Но бывает — никто никому, сам себе лишь, и то не весь. Ныне — пройда и бражник, валюсь в лопух, завтра — лунь я болотный, кычу совой в бору. А просплюсь — и пророк опять. Это что еще, вот когда-никогда путем пестрядинным точить иду: стал Точильщик, кустарь посторонних солнц. Там, по правую руку, Стожары-пожары горят, тут, по левую, — Крылобыл, косолапый стрелок, пули льет. Позади у меня Медицинские Сестры, впереди — Орина-дурина и чадо ее Орион. Много бродил я по мироколице и много созвездий определил. Есть созвездье Бобылки, только не разбираю, какой, есть Поручики, Бакенщики, Инспектора. Есть Запойный Охотник, заводной в миру бузотер, мужик правильный — жаждой неугасимой, удалью исключительной до кимрских кожевенных слюз включительно пресловут. Пишет нечто, листает — позвольте ряд мыслей выдержать? Не превратно ль, доказывает, вино сего года в старую бочку лить, разорвет оно ее по всем швам, искарежит вещь и, что обиднее, само вытечет. Добрый, добрый совет, возразить нечего. Единственно — не про нас, не про нашу Заитильщину небогатую он, ибо как бы это нам винища столь себе раздобыть, чтобы всю бочку — без разницы, новую там или б/у — затарить враз, на какие, с разрешения усомниться, таковские. Куда полезнее иной там урок. Нечего, учит, приставлять целые заплаты к тряпью рваному — неказисто. А потом — целое-то к чему раздирать. Вот это — про нас, это мы понимаем. Но, признаться и оно ни к чему как-то фактически, ведь имеем ли новое что-нибудь среди хламоты нашенской. И еще один случай произошел. Сеял, якобы, сеятель. Неясно, где — на Рунихах, на Лазаревом ли Поле, у Бабкина ли Креста. Тоже было; сошлась одна богаделка с Зимарь-Человеком в лесах — и Кондратий ее с испугу хватил. Постепенно находят. Очи у нее ворон выклевал, грибки

в туеске червячек поел, а бор как стоял — так и стоит вокруг, пока не сгорит. И вкопали на той поляне на память крест. Сеятель же одно зерно при дороге бросил, другое на камни какие-то уронил, третье в чертополох, и лишь четвертое более или менее удачно поместить ему удалось. Итого, одно зерно кречет усвоил, второе — коршун, иное — перепела. А вы как думали? Им продовольствоваться хочешь-не хочешь, а тоже крутись. Зато четвертое взошло с грехом пополам и выдало ни с того ни с сего урожай непомерный — сто зерен. Почитал я ту книгу охотникову и осознал: перемелется. Не волнуйтесь, наблюдается посреди нас и созвездие Пожилых. Если снизу смотреть, два локтя Вы повыше располагаетесь Зимарь-Человека звезды. Словно пригоршня светляков Вы. Тот же светит, как крупный фингал впотьмах, хоть на поверку и мухортный. Егерь данный как личность в обычных летах, но сам собою видный, заметный. Оспа портрет ему слегка изменила, еще — дробью охота его потратила, нос — морозом, вином нажгла, а лис ему бешеный ухо отгрыз: понимаем ту бабушку. Вижу — Зимарь супругу теперь губить повез, не вытерпел, Даниилы мои с Гурием-звероловом под городом воскурили, беседуют, а Илья Дзынзырэлла в отхожей местности старшой объявил: жадаю ракушек твоих, мне их побольше давай, соль и спички имеются. Всюду сумерки, всюду вечер, везде Итиль. Но там, где Зимарь-Человек телегой скрипит — заосеняло с небес, у коллег в Городнище завьюжило, а на моей Волка-речке — иволга да желна. Поступаю, как старша́я велит, и вступаю по колено в волну. Набиваю суму переметную я битком и развожу костерок. Слышу — мастера в декабре под горой гудят. Речь у них, главным образом, про Петра, недостаточно ясно точильщикам, что с ним такое. Возвратился тогда Егор к сидням на косу и сказал им, что нету ему после той дамы развеянья от бытия ни в чем, хоть

вешайся. Те утешать: повеситься ты всегда успеешь, спорить лучше давай. Спорить так спорить, Петр, заядлый, согласился тотчас. Знаешь ли селение Вышелбауши? Знаю, завод лесопильный там, как бы, работает. Верно, давай мы, значит, спорить пари, что не спроворить тебе оттуда хотя бы одну балясину, а когда и спроворить, то слабо́ тебе на ней удавиться, слабо, вряд ли, пожалуй, удушишься ты на ней, запасуешь, кишка тонка, и так далее. Э́то сидни Петру на косе говорили, это они, сидни, твердили Федору, а у Ильи дело к ужину, ракушки на угольях пеку. Скис ветерок и рябь на воде ли, в душе ли на место вся улеглась, и соловей тут в ужовниках пули льет. Кто про завод — я про фабричку. Голос был мне: имей в виду, учредят в грядущие сроки фабричку при устье Жижи-ручья, не какую-авось, так себе, а пуговичную. Как учредят, как запустят, да как пойдут пуговицы изготовлять — так сразу застегнутые все станут ходить наглухо. И потребуются перламутры в количествах — только подтаскивай. И откроют при фабричке точку, но не коньков, а приемную, и начнут от населения всей державы ракушки брать, ибо довольно-таки в них перламутров скрывается. А кто более остальных полезного сдаст, того фабричка челноком подарит. По-хорошему тебе говорю, голос был, не ленись, собирай сокровища. Много бродил я и много ужинал, и ракушек опустошил — несть числа. Створок порожних, благоустроенных ладошек нищенских на манер, створок бесценных, с исподу матовых, припрятал — страсть. Прятал открыто, разбрасывая по земле, потому что вещь, на виду лежащая, — она укромней всего лежит. Так что Вы, эту тайну выведав, чур-чура, не приходуйте перлы мои, буде обрящете. Ну, в руках повертеть — повертите, запрещать не хочу, но повертели — и кладите назад, где взяли, иначе Карл у Клары украл кораллы получится. Настоящее прошу передать по команде,

чтобы усвоили, табакуры же в первый ряд. А то моду взяли — все под пепельницы приспосабливать. Ужо им, настанет, знаете, ли, некоторый день. Как завижу — баржи с пилильщиками поволокли бревенчук пилять, то хватаю мешок поуемистей да поцелей и чешу торопливым аллюром по бивуакам старопрежних пиров. Соберу, сдам по адресу — ладья моя. Не худой, все заметят, Илья себе челночек прикукобил, не так себе. А вы как думали, я скажу, полагали — лыком я шит, дулей делан? надеялись — мякина у точильщика в котелке? Нет, завистники, нет, нехалявые, это лишь с виду я юноша немудрой, понарошке только к навозу жмусь. Светлое будущее у меня настанет тогда с яликом личным. Вот когда мы за ягодами лесными в Заволчье повадимся, грибники ль записные. А то я приглашаю радушно, а с транспортом напряженка. Все же верю — в свое время и на ту сторону попадем, давайте лишь выдержку отработаем. Сапоги, повторяю, достаньте — кровь из носу, крапивой щиколки обстрекать по лощинам — пара пустяков, да и змея в буераках держится. Да, и дождевик прихватите, вдруг дождь. Здравия желаем, долговязый Вы мой в макинтоше и в кепаре, залезайте, корма скучает по Вас. Мяты, медуницы, болиголова я там подстелил, чтобы Вам пахло недурно, чтоб ненужный запах отбить. И отчаливаем, наконец, с прибаутками и с козьими ножками на губах. Верней, Вы в последний момент закапризничали, отказались — и я в одиночестве отвалил. Отвалил я пошляться в свои мировые орешники, которые завещал мне однажды осенью один старожил. Завещал, показал, а к весне отойти предпочел он к умершим. Но орешники действительно хоть куда, в гранке каждой орехов, что у приблудной козы, не в обиду ей будет сказано, под хвостом катяхов. Правда, к стыду моему ни разу я после имение это недвижимое не навестил. Что за притча, зачем я туда не

направлюсь уже на артельском челне ? А затем, что пропили мы артельский артельным же способом раз двадцать пять. Пареной репе подобен, но всякую снасть или живность дозволяет пустить в оборот не единожды. Нету денег порой; ничего, дело ихнее, зато есть кот. Не у нас, понятно, точильщиков, нам ни к чему, мышь железа пока не кушает, у мельника, видите ли, имеется кот. И прикидывается один из шатии перехожим каликою и переходит к мельнику на бугор: какое это село тут будет у вас? Не обессудь, Малокулебяково, мол. А я думал — Мыломукомолово тут будет у вас. Нет, Мыкомулоломово — песня давняя, Мыкомулоломовым мы прежде звались. Хм, а Милокурелемово в таком варианте где? Малокулелемово, рече, в другой стороне совсем, у нас мало никогда не кулемали. И покуда он с мельником чепуховину эту мелют, пролазы наши за амбаром кота караулят с мешком. Кличет мельник на туманной заре ангорца сибирского, бродит, зычный, по-над Итиль-рекой, а тот — далече. Не дрейфь, растяпа, в добрые руки починщики его сбудут с рук. Сразу и новая смена рукава засучает. Верю, и сотрудники не подведут, мурлыку у покупателя со двора сведут тем же способом. Сходственная катавасия наблюдалась и с челноком. Не скажу теперь, у кого мы его впервой утянули, слишком событие удалено, да и не суть это важно. Замечу только — сплавляли затем многажды и регулярно и тоже всенепременно понятливым. Напоследок, однако, срезались, осрамились, загнали весьма безответственному. По совершению купчей, после заката, в куриную слепоту возникаем как тать у прибрежных колов, где по сведениям прогнозов сударь сей лодку нашу намеревался держать. Смотрим — нет плоскодонки, лишь груда щепы лежит. Выясняется. Меж тем, как мы с беднягой торговлю вели, у него как раз баньку обчистили. Ковш забрали, мочало, обмылок и казанок. И сетку заодно выдрали из ручья,

поскольку баня та при ручье. Егерята промыслили, сомнений на этот счет не лелеем. И когда покупатель приплыл на обнове домой и обнаружил ущерб — он тогда весь затрясся. Зачем смеешься, черемисы одни спросили: посиживали невдалеке, за воротник закладывая: что ли весело? Как же мне не смеяться, Вася этот — потому что это был он — отвечал. Как же мне не смеяться, он отвечал, сквозил мне в буреломе судьбины разъединственный огонек — мережа дыра на дыре, и мечтал в рыбаки податься, дощеник все желал прикупить. И проследите: то челн уке́ — снасть э-э́, а то челн э-э — снасть уке, ее выкрали. Нет, неправильно Михей Марафетин учил, будто всякий ставит брату своему сеть; здесь картина обратная: ты, брат, ставишь, а брат твою сетку тащит. И сотвори Василий топор и поруби наш струг за ненадобностью в ликованьи сердешном. Вот и обезлодили мы на старице лет, прогуляли ушкуй свой артельным путем безвыгодно. Как же, говорит, не смеяться.

Все-таки, положим, Фомич, промыслили мы с Вами посудину. Снарядились, достали и сапоги, и лукошко, и плащ; и что характерно — я отвалил, а Вы воздержались. Я всполошился: загрипповали, хвораете? Нет, здоровье по норме, хлопоты просто по службе наметились — с письмишком твоим спешу ознакомиться, а грибы мои, к сожалению, меня подождут. Истина Ваша, синица верней журавля; ознакомьтесь, вселите надежды великодушно. Отпихнулся чем водится — и пошел жуком-водомером безвредным рывками ширь мерять. Точно как чибисы уключины плачут, ничуть не смазаны. Замечаете, погодка установилась — шепчет, давешней не чета. Не стрельнуть ли у Вас по этому случаю двоечку папирос, одну в зубы, вторую за ухо, про запас. Лепота невозможная. Бор — красный, лес —

лис с подпалинами, Итиль — медом потек перламутровым — ложкой ешь. И вода просвечена, что луной, и ведомо-неведомо пустылок на дне, и нашлепку любую читаешь ярлычную запросто, как сквозь прилавка стекло. Поднырнуть бы, собрать бы сосуды бесхозные — да в Слободу. А? Что Вы, пустые мечтания, глубоко непомерно, а вовсе не водолазы мы. Вот пиявкам — доступно, сосут. А караси-то здесь где, ерши эти самые? Пригляделся — кемарили в ямах, в тени берегов, под корягами, и Орина плыла надо мной, ляжки ее разводя по-лягушьи, совсем. Будто в зеркале плыла она наверху, будто блазнилась, и волосы длинные тянулись, как тина вдоль боков и спины, груди же — чтоб не соврать — ходили парой крупных линей меж рыб. Из далекой близи моей мог без зазрения совести впечатление от женщины получить, и рассматривал всю, поскольку хватало воздуху, а когда не хватало — выплыву, подышу и назад. Статью своей разбитной нарочито гусей дразнила в Илье, но характер держал, не давая нервам амнистии, и терпенье хранил горделиво — дразни-дразни, нам, сиротам, не привыкать, мы вытерпим. Но поимей в виду: как набью я оскомину долгой мольбой, как принужу тебя, курносую, по всем статьям — уж попарю я, паря безродный, корягу плоти моей бессовестно, поманежу, как следует быть. Что ракушек касается, то и они, они тоже там были раскиданы. Эти просто раскиданы, лежали, отсвечивая, иные ползли старательно, не известно куда, и при том оставляли на грунте податливом, зыбком такие следы, будто Горыныч напóлзал их, тонины небольшой. Спички и соль, намекаете, имел ли я при себе? Не совсем: в числе остальных специальностей находились в одеждах, а те, в свой черед, в скабиозах, в чапыжниках. До искалеченья — и даже поздней — до той бобылочки вплоть, которая пистоны позастрочила намертво, дабы руками я попусту в карманах не шуровал, все дос-

тоянье хранил я обычай прадедов там содержать. Ныне манатки складирую частью в суму, частью в пустую штанину подвязанную — комфорт. Не было бы, говорит, удачи, да неудача была. Ну и вот. Что предсказывал я Орине в уме — то и сделалось. Навещаю по старому стилю того же июля числа, понимаете ли, двадцатого, у Ильи именины, а у нее выходной отгул. Неужели в апартаментах торчать — айда пошляемся. Пятый час. Воздух стыл его слабый, трогательный, но ляги, поди ж ты, расквакались, как ненормальные, зачуяли настроенье мое. Было мелочью рублей при себе четырнадцать, на станции с утра насшибал. Из них под платформой только обрел до рубля — растереха еще у нас пассажир. И вообще красота под перроном, уютно — коптишь, покашливаешь, и всем на тебя наплевать, где ты есть, или, может быть, кто. Наоборот, ты сквозь щели меж досками любопытствуешь и провидишь все досконально; некоторые, к примеру, барышни вообще почему-то без нижнего. Ну, и Орина аванец накануне взяла — гуляй, рванина. Был-имелся в те хитрые годы как годы трактир-не трактир, лабаз-не лабаз, а давай читать — забегаловка. Отстояла она от бараков — рукой подать, ближе близкого, фрамугами лупилась на тракт. Отоварились — и приютились за дамбой, в акациях, в самой дреме́. Оре я, как не нами заведено, лапсердак подстелил, сам — просто так. Закусили; таранка азовская вяленая, третий сорт, — та и сейчас перед глазами стоит. Спели, попели, потом я несколько рискованных приключений на память привел. А замолаживало, гроза от хранилища заходила, и пожалел я об этой затее своей, потому что достали нас — прямо достали квакухи хором большим. Мыслил я тучи вспять завернуть, да лень одолела, назюзился и размяк. Бог с ней, думаю, пускай гремит, скрытная вода в облацех, авось пронесет. Ан пролилось. На поляне пристигло нас, у самых качель. Поугрюмело все, зашаталось, закапало.

Побежали, торопит. Сама на берег влечет. Там карбас перевернутый ничейный на гальке валялся ничком, и рогатина невысокая его подпирала под обечайку, чтоб можно было подлезть. Спички подмокли, но кремень и огниво не отказали — трут подпалил я в момент. Щепок хрустких и гильз отработанных папиросных — всякой горючей мелочи нашлось в избытке; сварганился огонек. Озарило прекрасно светом этим Орину, осияло заодно и Илью, и пошли по обводам шершавым тени наши ходить. Шел бабай по стене, нес семеро лаптей, и себе, и жене, и дитенку по лаптенку, я ей, помню, сказал. Хлынь обшивку когтит и когтит, а нам — сухо, беседуем, на ветоши прилегли. Посвятил ты меня в свои случаи, подруга мне говорит, а желаешь — и я тебе что-либо поведаю.

9. КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

Друг семьи, разъездной чиновник, чьи предки, сицилианские негоцианты, прикатили когда-то в Россию за партией tarantasos и на обратном пути навечно застряли в непролазной грязи где-то меж Конотопом и Сызранью, и чей портрет блистает отсутствием в экспозиции, принимает участие в нашем герое. Когда последний, по выражению первого, входит в действительный курс респектации, чиновник рекомендует юноше пуститься по своим стопам и составляет ему протекцию для поступления в разъездное училище. Судьба художника была решена. Лик его, наделенный приметами изысканной чувственности, выделялся из лиц остальных наездников ясной высказанностью характера и томнооко и полногубо реял над кавалькадой. Физиономии же однокашников были посредственны, уши у многих, словно бы для того, чтобы лучше улавливать цокот копыт, безнадежно оттопыривались. Из окон класса всякий час — река-клоака, и зачастую восторженный отрок дерзает морячить по ней на монструозном корыте. Как неотвязно за лопастями весел тянется и бумага, и тина! Янко не боится ни ветра, ни волн, вырастет — очнется в сумерках бытия кухмистером скользкой от сала кухмистерской. Методическое помешивание черпаком, коловращение скверно пахнущих жиж вдруг живо напомнят картины беспечной давности, пору лодочных одиночных гонок с самим собой — воспаленным, мозглявым, когда по утрам хари окрестных строений обморочно зияют в грязно-желтой больничной мокроте окраинных растуманов и та — верно, рябая и гнилозубая — девочка за фанерною перепонкой, собираясь в свои дефектологические университеты,

хнычет над рассыпавшимися по полу школьно-письменными принадлежностями и поет безмотивно и нескончаемо — дождик-дождик, перестань, я поеду в Арестань: одиннадцатилетняя, заячьегубая, пьянозачатая, — а ты на заре своей бедной юности просыпаешься, обсыпанный цыпками и лепестками белил, отлетевшими от потолка, просыпаешься, стараясь понять: ты ли это или кто-то другой просыпается тут и не знает: он ли это или кто-то другой, например — тот же ты, но такой же затурканный рахитос просыпается здесь, обреченный невзгодам малокровного дня, а мать шелестит газетой, шуршит плащом, хрустит замком и уходит в бухгалтеры в пошивочную имени политика Разина: Степан Тимофеич, куда вы задевали гроссбух? Между тем, среди разъездных механизмов образца батальных годов шагал неладно скроенный да крепко пошитый лихой военрук в подтяжках, предупредительно облачив стул в добросовестно отутюженный френч. Прибывал доброутренний, по-гвардейски румяный, с четою бесстрашных, словно бы, полных ужаса, пепловатых навыкате глаз. *Портрет военрука.* Шагал нешироко, оловянно и, моросял морзянкой, доносил, что первое применение танка в бою произошло бабьим летом шестнадцатого на Бзуре. *Война.* Воздух сер, равнодушен, недвижим. Дождь перепал накануне, сонные прифронтовые растения медленно обнажаются. И когда стрельба затихает, слышно, как слетают, пикируя, по-жестяному тяжелые листья дуба в дуброве, и базарят вороны в той же дуброве на гладкой торжественной высоте, обозначенной на топографических картах отметкою двести семнадцать. Кроме того, слышно, как в лесопильне кто-то пилит пилою, а некто, но тоже на лесопильне, пиликает на концертино. А в траншеях и сапах противника, за спутанными, ужасно окислившимися, колючими проволоками, за кучей-малой разношерстных, разноплеменных ощерившихся

и босых мертвяков, австрийские флейты, контрапунктируя с мадьярскими барабанами, высвистывают надоедный Марш Кайзеровских Охотников, чуждый русскому сердцу донельзя. Словом, к зиме вид из окна класса делается слишком однообразен. И разве не очевидно, что он тем статичнее, чем более изучаешь его. И не всяк ли разумный, спешащий в путь свой, Ахиллу подобен: никто не в состоянии догнать свою черепаху, достичь ближайшего чего-то, чего бы то ни было. Анкета глубокой осени. Профессия — прохожий. Место работы — улица. Стаж работы по специальности — вечность. Не лучше получается и с другими принципиально способными перемещаться объектами — они не перемещаются, убеждая сомневаться во всем. Непозволительно затягивается перелет стай. Над ребристыми, мутно-бордовыми кровлями парят они, куртуазно пошевеливая краями крыл. В парке — духовой оркестр, но свободных мест на скамейках — полным полно. Естественно, что звук плывет, как если бы граммофон напрочь выдохся. Пусть. То же относительно всякого рода движения, а верней — недвижения, относительно статичности всего *Городского Предзимья:* пусть. Шли уроки словесности. Башмаки этого преподавателя, на которые парой использованных одиноких гармошечек нисползали носки, были на редкость изношены, были разбиты. Сдавалось, вы зрите обувь заядлого ходока, завзятого пилигрима, калики, а то и самого Агасфера — известного сапожника без сапожной, снискавшего своей опрометчивостью вселенскую славу — раскаявшегося, но получившего-таки поделом. Но относительно статичности городского предзимья — пусть. Но неожиданно на экране окна пошло черно-белое немое кино *Первоснежья*, и если улица до сих пор не дарит унылому взору энергичных субъектов, благоволите найти их, представить, вообразить самому себе и, не мешкая, спроецировать на экран. Нате в некогда

модных клетчатых кепи мальчишек-газетчиков, вопящих сенсационные шапки. Благодарю вас, но вы не учитываете, что сенсации официально отменены, те мальчишки ушли на покой и газеты продаются только в киосках. Значит следует показать бывших мальчиков, ставших ныне живым воплощением неизлечимых недугов, а сенсации — за неимением нынешних — набрать вчерашних. Вон они, мальчуганы, чешут по мосту вдоль чугунных имперских с орлами решеток, пытаясь сбагрить встречным ахиллам так называемые свежие номера. Впрочем, чешут — сказано сильно; однако, в сравненьи с ахиллами даже и чешут. Обратите внимание, некоторые передвигаются на инвалидных колясках, а одного обрядили уже в последний путь: дубовую обузу поставили на полозья, и сослуживцы почившего влекут ее по свежей пороше. Как вы находите эти лица? Они затасканы. Неужели время не пощадило их? Никоим образом. Так-с, а души? Увы, души искалечены до неузнаваемости, просто гроша ломаного не дашь. Марш угрюмых субъектов с желтыми от желудевого кофе клыками в морщинистых ртах, с пачками пожелтевших от злости и лживых нападок листков подмышками, конвульсируя виттовыми телами и жестоко гримасничая, совершал продажный ход по маршруту А-трэма. Так называемые белые мухи роились над разносчиками, слепили их, щекотали им угреватые, переспелые их носы и, как перхоть,— почти столь же густо — облепляли их плечи. Распространители спотыкались о земные неровности, падали, шлепались, рассыпали несомое и, чтобы собрать, на карачках ползали дальнозорко. Все-таки они были очень тяжелые, те грошовые кипы. Но, может, то были совсем не газеты, может, пенсионеры вынесли на продажу истории своих болезней — такие тяжелые — таких тяжелых? Нет-нет, то были как раз газеты — истории болезней истории — такие тяжелые — таких тяжелых, а истории собственных

болезней газетчики носили в себе, сами являясь историями этих заболеваний. Бедные престарелые: они долго не могли одолеть чуть заметную горбинку замостия — гололедица. Едва не достигая вершины, сотрудники по очереди соскальзывали вниз вместе со своим историческим грузом, причем, одни удерживались на ногах, но не другие. Съехав к подножью, предпринимали новое восхождение и снова съезжали — сизиф за сизифом: потеха! А теперь дайте звук. Забирайте. Сначала хрипы и стоны, астматический кашель, шарканье обуви, харканье, всхлипыванья и т. п. После кто-нибудь что-нибудь потерявший вопит: да где же мое что-нибудь! Ответом — безмолвие, всем недосуг, каждый увлечен процессом движенья — процессия. Процедура влачения импровизированного катафалка — звуки влачения. Крик: свежие новости! Клик: Русские Ведомости! Затем все разом, но разное: Голос! Новое Время! Биржевая! Петербургский листок! Сопение пневматических тормозных устройств — трамвай нагоняет и обгоняет прессопродавцев, и хлопотное лопотанье двенадцати пар колес, хоть и звучащее под сурдинку снегопада, глушит этот нестройный ор. Наконец последний вагон показал ветеранам овальный тараканий зад с торчащей и ворочающейся колбаской фаркопфа, с буквой А, шагающей агрономическим аршином, и с тихими человечьими мордами за мутными бычьими пленками тамбур-площадки. Часы над воротами парка военного отдыха свидетельствовали наиболее скушное время суток — пики откозыряли час и зашли под второй. Японию навестила ночь, и каратисты Хоккайдо, нахыкавшись, дрыхли на своих татами. В Китае рубили собачьи головы. Турция пахла кофе и табаком. В Албании, несмотря на землетрясение, у дома, где жил патриот Кастриот, ликовала толпа смугловатых зевак. Румыния опохмелялась рымникским, ноги делались легкими и сами пускались в пляс, никто

не ведал, вторник или четверг. Безработная Италия весело ехала под оливами на похищенных велоциклетах, и лира, как всегда, ни черта не стоила. Маяки и ревуны Гибралтара бодрили штормующих мареманов, а тут, в России, в бывшей потешной деревне Ботфортово, отставные газетные сорванцы тщились сбыть отставные новости. Свидание императоров в Гоштейне! Башибузуки вырезали пятнадцать тысяч в Болгарии! На Шипке все спокойно! Сибирская дорога построена! Цзай-Сюнь приговорен к харакири! Эвакуация Маньчжурии! Инцидент в Касабланке! Выйдешь — поневоле тяжело — хоть плачь, смотришь, через поле перекати-поле прыгает, как мяч, диктовал Агасфер. Перья старались. Парки и Мойры приговорили учащихся к разъездной жизни, и впереди у них было все золото мира. Светало. Еще в Лапландии не доили коров, еще в Назарете не кричал муэдзин, а на охотничей мызе французского короля все еще пили chartreuse. Наболтавшись о куртизанках, балах, с кубками вываливались на балкон и, вырывая друг у друга рожок, мычали звездам жалобу молодого быка, заколотого на каталонской корриде. Потом стреляли на воздух: выстрелы были слышны даже в Версале. Борзые там беспокоились, полаивали, стража вздрагивала и просыпалась. Фрейлины в пеньюарах и с ночниками в руках сплетничали на галереях: о, mon Dieu, когда он только остепенится — Monarque, а ведет себя, как Gavrouche. Друзья, провозглашает тот, стоя у баллюстрады в окружении свиты и своры, я предлагаю тост за того удальца, который залпом осушит ствол моего мушкета, полный бургундским. Выносят. Приклад инкрустирован. Хозяин передает оружие одному из участников: отведайте, mon cher. Графа постигает неудача: он не в состоянии выпить и половины. Ствол пополняется и под хохот охотников вручается следующему из них. Он также терпит фиаско. Мушкет идет по кругу, и он,

наконец, замыкается — лишь первый среди равных не испытал еще своих сил. Французы, говорит он, ваш любезный Людовик спешит вам не выручку. Сейчас он осушит сосуд, хоть и совершенно иным способом, нежели ваш — следите. Монарх затыкает ствол бутылочной пробкой и насыпает на полку голландского пороху. Лица присутствующих покрывает смертельная бледность. Ваше, — в ужасе кричат они, расступаясь, король стреляет (мушкет взрывается) и падает, все в волнении бросаются к распростертому телу, — Величество! Людовик немотствует, его изумительный фас, сотни раз писанный европейскими мастерами, изуродован, а белоснежный маскарадный костюм — весь забрызган. Ах, мой мальчик, шепчет королева, на миг пробудившаяся у себя в будуаре от дальнего выстрела, напомнившего ей хлоп карнавальной хлопушки, милый мой удалец. Белые локоны прекрасных волос ее Величества разметались по высоким подушкам, ей снится печальное: дерзкий вепрь с физиономией ненавистного ей горбуна-доезжачего восхищенно ласкает ее под сенью камелии возле купален. Совершив злодеяние, похотливая дичь исчезает в чаще. Стыд и омерзение охватывают королеву. Ей мнится, что некоторые из егерей, скрывавшиеся в беседке и бывшие тайными свидетелями недостойной сцены, желали бы насмеяться над ее августейшим бесчестьем. Светало. Следователь по особым делам Пожилых, специалист без каких бы то ни было примет, носил плащ-палатку и полевую сумку через плечо. В сумке — стандартные бланки актов, плотно скрученная портупея, карманный фонарь, сантиметр, лупа, вечное перо, подробная карта местности и очешник, где за подкладкой — фотографический снимок работницы местной публички, насчитывающей в своих фондах около ста сыроватых томов. *Воскресение Пожилых.* Ужин, вермут, накурено. Табак влажен и носит смешанный привкус одеколона и

керосина — следствие нерадивости тех, кто ответствен за упаковку, хранение и перевоз. В глаза кидается яичница с колбасой, лабардан, банка тюльки каспийской, круто соленой. Различаешь число поимки, дату соления, читаешь и тюркскую подпись браковщика. Из мебели, помимо стульев, стола, — узкое, неудобное в любом отношении канапе. Буфет и прост и орехов. На полках — несколько тарелок и блюдец и несколько несколько плесневелых кусочков хлеба. Виднеется и флакон конторского клею — заклеивать окна. Бумажные полоски нарезать из газетных полей, клеить до заморозков. Вид из одного следовательского окна — дровяной щелястый сарай, из другого — тот же сарай. Летом при распахнутых рамах — запах жимолости и бузины, аромат разъятого дерева, звуки тенистого переулка — муха, мопед, тарантас, шаги обывателя. Будучи представителем прокуратуры, Пожилых укладывается около десяти. Он читает в постели столичный журнал, не чурается стихотворений, поэм, и нередко по памяти декламирует то, что запало, запомнилось. В частности — *Подъезжая под Ижоры*, причем Ижоры воображаются большим деревянным градом на горе, посреди просторной пожухлой пажити. Через поле, оранжевое, как апельсин, под небом погожего, хоть и не слишком теплого полдня, катит дормез с громоздкими рессóрами, сработанными из кованого металла. Пассажир, чернявый и бойкий, с небрежно расчесанными кучерявыми баками, высовывается и, слегка придерживая рукою цилиндр, предается воспоминаниям: и воспомнил ваши взоры, ваши синие глаза. Ижоры близятся, и золоченые купола так и блещут. В случае убытия за пределы уезда, особенно если в жемчужной влажности тумана мерцающе-светло парит смутность странного обмана, или попросту холодно, надевает непродуваемую душегрейку и бурки основательного пошива. Переночевав, велит запрягать да

поживее. Позвякивает, светает. Эх, прокачу по тряской, ямщик с глазами, как у кролика, в лисьем тулупе, хищно осклабившись волчьей пастью, подмигивает с облучка. И точно, уж и светает. Справа, в полутора, а то и более, верстах — река. За нею — селенье со множеством бань и барок не берегу. Церковь вся отражается. Отражаются и вороны, роящиеся вкруг колокольни, как черные, вознесенные зефиром портняжные лоскуты. Село сие, ежели довериться плану, имеет прозвание долгое и бестолковое. В имени его чудится бухающий ход маховика, оно отзывается, машет издали квадригою крыл, не ведающих иного, высочайшего своего предназначения. Тут услышишь и звуки погрузки; тукая сапогами и крякая на всю середину августа, несут белесые пятипудовые кули и командуют стоящему на подводе: ну принимай! Тот и вправду кидается. Еще мерещится в настоящем названии косноязычие мельникова подручного, малоума и дылды, который на ваш вопрос — какое это село будет? — нисколько не возражает, но лишь сосет леденец на палочке да знай леденит вашу заезжую душу своим подыжорским взором. Для музыкального уха название наше разражается целой симфонией, ведь обнаруживается в нем голос и самого мельника, что, услышав приведенную здесь беседу, с готовностью поспешает — если только возможно так отозваться о том, кто едва ходит, будучи обременен избытком здоровья, — спешит на подмогу косноязычному. Но мельник, словно бы, и сам насовал себе что-то в рот — не иначе каких-нибудь жерновов, так как зерна словес его сыплются на путешественника мукой шума. И не беда, что в тумане на миг забрезжит сокровенное имя: разобраться доподлинно — Мало-ли-то-Кулебяково, Мыло-ли-Кулелёмово — не достает проницательности.

10. ДЗЫНЗЫРЭЛЫ

Мол, все время я в бараках тут проживаю вообще. Парк приютный у нас, с качелями, жильцы тоже вполне приветливые, и овраг имеется свой — гуляй-не хочу. Прежде эта бабуля жировку со мной делила, старьевщица. Старым веяла пуще тебя, а я только в сока входила, мне руки мои по летам молоком самой пахли, волос вился, курчавился. И гулять я хотела, уйду и гуляю весь день. На опушках привольно — сороки, грачики. Как взовьются — полнеба нет. А блестящего ничего не оставь — уворуют. Чур мои деньги, бывало, кричу. Одуваны рвала большие, кашку-клевер собирала поесть, меня же сладким судьба не баловала. А однажды лисенка ловец поймал, то-то радости. И предсказывал: вырастет — станет лис. Но немного побыл лисенок у нас — пропал. Я искала в лесах — нету лиса, обидно, горестно. После отправились мы с бабулей уголь бросовый на насыпи поискать. Печку ж надо топить, дело к осени. Серый шлак с паровозов, Орина мне говорит, будто я сам никогда не искал, серый шлак с паровозов сбрасывают, а в сером — черное, не прогорелое, приметил — бери и все. И мы лиса нашли на путях разрезанного. Видно, люди какие-нибудь посторонние изловили и привязали на гибель бечевками. Горе лису, пропал, зубы острые, хвост предлинный. А бабуля: да не реви, вот, не наш это, наш меньшее, давай лучше шкурку спяливать. Нет, бабуля, ты не сбивай, это наш, вырос за лето. И ловец про лиса спрашивает потом. Но сокрыла я истину. Был ловец мой соседом нашим, но с ним не гуляла. Я сначала одна гуляла, ни с кем. Но ведь возраст берет же свое, и матросик увлек: кроме шуток, что страшного-то, говорит. Что ж ты думаешь, настоял-таки на его. По первоначалу

тишком — трогал, ластился. Рот у него сладющий такой. Я смеюсь: что ли вы монпасье себе кушали? А моряк: я всегда применяю, знаешь ли, табака необходимо запах отбить, иначе командир заругается, нам курить же нельзя, мы невзрослые. Мы когда в экипаж из увольнения возвращаемся, он поверки заделывает — дыхните-ка, требует, юнги, скоренько. Ребята сен-сен в судовой аптеке берут, а по мне — монпасье полезнее, хоть и зубы пока не того, я ж в эвакуации рос, под Чистополем, все сплошь порченые, но зато от сен-сена типун выскакивает запросто на языке, а монпасье всю дорогу грызешь — хоть бы хны. Чаем тоже зажевывать можно, кофейными зернами, только чай в кармане просыплется пачечный как пить дать, и командир карманы как пойдет выворачивать нам — решит, что табак, и не докажешь, что чай, но и докажешь — тебе же минус: чай же тоже можно курить и чифирять тоже можно, так что с чаем так и так погоришь, да и с кофеем. Нет, по-честному, монпасье надежней всего, никакого шухера, и леший с этими дуплами, если так разобраться, главное, нервы дороже. А меня угостите? Согласишься, сказал, значит вся жестянка в твою пользу пойдет. А я ж сладким не забалованная. И увел, конечно, на берег, под бот сюда умыкнул, но я все одно не доверяю особенно. Папироску тогда раскурил и кожу на животе у меня прижигать собирается. Куда же я денусь, но так ни за что бы не стала с ним. Даром, что щуплый он был, тебя-де, Илюша, щуплей, Чистополь, вероятно, давал себя знать, однако мы и чуть-чуть не выспались. Вылезли, а высерело уже, а началось — еще канонёрку его учебную на середине видела через лаз: на рейде, хвастал, стоим. Смурая вся из себя, а пушка в мешке. И ветрено было, волнисто, хлябь. Дома бабуля приветила и ну шерстить, и монпасье все по полу раздрызгала. Что же, затем не отказывала уже пареньку. Как-то заглядывает — на нем бушлат: чуешь,

как закрутило, кранты. Что ли не навестите впоследствие? Нет, весной заскочу, говорит, а по сугробам чего топотать-то бестолку, бабуля же, намекает, нам не потрафит, чтоб в комнате мы, а под шлюпкой почти немыслимо, намело, вот и всякого тебе до поры наилучшего. И мужчина некоторый в соседнем бараке тогда проживал, кустарничал, под лестницей помещенье держал, кожей пахнул да ваксами. Дальше — больше, бабуля шкуру лиса дает: на, снеси, может, дядька этот тапти мягкие стачает тебе за так. Отчего не стачать, он сказал, но за так, за мерси, не делается у нас покудова ничего. Как стал размер с ноги у меня снимать, так сразу дверь закрыл, крюк навесил — и на тебе. Забегай на примерку, он назначал, и я на примерки пошла частить. Тапти ладные стачал в январе месяце; ради крепости обсоюзил, для форсу хвостом оторочил — худо ли? Ловко получалось в них вдоль свеев к нему самому гулять, мягче мягкого. А к весне уже в положении. И ведь шила в мешке не утаишь небось, и вот сплетни разные по баракам понавыдумывали. Бабуля расстроилась: час от часу не легче, мол, была у нас Оря гулена, а стала гулящая, то ли будет еще, все нервничала. А по новой траве — моряк с печки бряк, опять под баркас зовет, ветоши корабельной полно туда натаскал. И, бывало, утрами я с кустарем, а зорями на лукомор спешу, как закон. И уже так притерлась, владилась, что как день-другой без обычного — так беда, изовьюсь вся, изноюсь внутренне, ну, словно, лед у меня там горит. Ты скаженная делаешься, матрос предложил, не возражаешь, если я кореша в выходной прихвачу. И они вдвоем повадились навещать, только и совместно не успевали за мной. Как вдруг у них отгулы большие на канонерке — команда дана, и они четверых мне представили. Запротивилась, со всеми-то не в рассчет, да и речи их, новеньких, не понравились, больно просто у них, как послушаешь, получалось в отношеньи всего.

И тогда понарошке прикинулись, что будут только вдвоем, по-обычному, а дружки невдалеке погодят. Но когда на пару с приятелем разбередили меня, то и тем ухажерам они свистят. Поняла положение — задумала отвертеться от них, но слова лишь на ветер растратила. Вот ведь как обмишурили, да синяков еще насажали. Ничего мы уволились, один разъяснял потом, а то бродишь, как цуцик, заскочить не знаешь к кому, мы ж не местные, знакомых нема, но время же надо убить, мы ж мóлодежь. Ну там в перукарню марафет навести забежишь, ну, к армяшке штиблет подраить, шнурок сменить, ну в кино, на каток на худой конец. Но каток ведь не круглый год, а кино круглый год не смешное кажут, а желаешь дымить, то дыми в рукав, а то выведут. Да и на катке особо не разбежишься, приятель поддакивал, уволишься, поедешь ты в эти парки, ножики возьмешь на прокат, в точку сунешь, туда-сюда, морсу выпьешь в буфете, потом пропилишь по главной аллее разок — сразу мокрый, хоть робу всю выжимай, нам бушлаты ж на вешалку сдавать не к лицу: попортят еще, потибрят, заденут флотскую честь. С этих пор за обычай взяли по очереди. Кто-то тут, а остальные снаружи находятся. И заметили, что пацан подглядывает из кустов. Изловили его, втащили, насмешничают. Попросила — а дайте я с ним одна. Отошли, им без разницы, картошки начали печь. Поначалу чурался ловец мой, такой недотрога был, но приласкала дотошней — освоился. Задремала, очнулась — а он пропал. Моряки возвратились — картошек дали, портвейного, а в октябре родила я — не во время. Все не как у людей, бабуля расстраивалась. И много чего случилось кругом. То матросы тоже пропали, то сапожник слинял, и бабуля куда-то девалась, и сын мой канул, а я все здесь; полные свои мимолетия тут бытую, как правило. Встрепенулись гуси в Илье, Фомич. Ведь каким же растютей, пронзило, себе же и ей предстаю, что за игры глупею-

щие творились, к чему это резину дешевую пришлось месяцами тянуть, что ли, выказать я желал уважение-унижение. Вроде этого мыслил, а мыслил рывками я, водомер. Рваный ход мой по веку и сам оборвался, дрянь. Будто псами трачены обновы мои вековечные, да частично и псами. Я к фацеции этой приник со рвением, и в тошноте души осознал, что бабуля та, пробабуля, сквозь землю провидела, старьевщицей трубила не зря. Да, слыла ты, Орина, гуленой, а сделалась шлендра типичная. Не взыщи, подустал я жантильничать и понужу тебя, ломаку, прямо нынче же, тут, на канонерском тряпье, не дожидаясь иных оказий. Вечно я немочь буду, но был не всегда. И придвинулся. Об этом, пишется, буду выть, как шакалы, и росомахой рыдать. Соблазнился Илья к шутам и пошел через бабу вразнос, повело его, как того кота, подмочило ему репутацию. Знать бы, где шмякнешься, там соломки бы подстелил, и ветошь позорную — пусть пайков специальных сухих от конторы своей не вижу в последние сроки ничуть — молоньями бы всю полномочно спалил. Да ведь не манной единой, ракушек еще на наши века достанет, ракушек-то. Вот пеку не спеша, дело к ужину. Всюду сумерки, повсюду вечер, везде Итиль. Но там, где Зимарь-Человек на телеге супругу на карачун повез, лист сухой в самокрутку сворачивается на лету; под Городнищем, где речь про Егора, про Федора — чистый декабрь; а на нашей на Волчьей — не верится даже — там иволга, там желна. Парко, жарко ракушкам в геенне их, эк скрипят, соболезную. Все ж одну за другой глотаю и ем, отскребая от перламутров съедобное. Скорбно и Зимарь-Человеку жену губить, но и он от решенья не отступается. Жаль тебя, он ей плачется, топить ведь везу. А не вез бы, она ему, шельма ветхая, совет подает, сколь годов, оглянись, вместе отбыто. Да вот тот-то и оно, Зимарь сетует, столь годов, что терпеть тебя ни дня более не могу,

опостынула. Но прошу, продолжает, в положенье мое войди и зла на олуха не держи особенно. Что уж там, она ему отпускает грех, вольному воля, охулки на руки не клади, только и ты, дружочек, не обессудь: вероятно, обеспокою порой. Не обязательно, говорит, еженощно жди, ну, а все-таки, нет-нет да и загляну постращать. Мастера про Петра: что с Федором? И никто ничего не знает как следует, все с концами забыли, фефелы халатные. Один я почему-то, средь них в декабре стоящий, все в памяти удержал. Заводили, стало быть, счетоведа сидни насчет повеситься — де, не храбрый ты, хоть и Егорий. Разобиделся он на бражников, удаль его, видите ли, поставили под вопрос, — и вскорости ко́су покинул, дабы в эту же синеву доказать, что с ним подобные номера не проходят. И спроворил что надо где следовало, и завис без истерик на дратве вощеной и скрученной в восемь раз, знаменитую ту балясину перебросив с сосны на другую на правильной высоте. И находят его сторожа охот в независимом таком положении, и выписывают того ли фельдшера из Городнищ: окажи, надо помощь. Притащился, ему показали — врачуй. Фельдшер им: лично я свидетельствую удушие. А мы думали, просто не климатит ему тут, ну, а быть, быть-то будет? Чего не обещаю — того не обещаю, им лекарь сказал. Медицине видней, говорят, отзвенел, видать, горемыкалка одинокая, откуковал. Приласкала, правда, дама его эта под самый конец, но и то рябам на смех — с пятницы на четверг, салом, словно бы, по сусалам. С кем, забавно бы выяснить, со следующим она побудет теперь, кого осчастливит, а кого, гадали, осиротит. Так гадали мелкоплесовские сторожа в районе села Вышелбауши, а она уже, надо думать, наметила тайно, кто именно. Выяснилось потом, в теченье поминок по Федору, куда в сравнительно недалеких видах физкультурной зимы не погнушались зазвать и меня. Оттаранили его мы на

Выгодощи, посовещались и тризну постановили вынести на общий простор, на Кабацкой Зари острова, о которых с таким почтением отзывался всегда отчаливший. Нет, может быть, местечка на целой Волчьей годящее, нежели те земляные клочки. С первого взгляда — гряда как гряда: моховина, болотина, ну березка мелькнет, ну рябина. Но проскучаешь с неделю там, порыбалишь да поваляешься с ватагой ушкуйников в мураве, на облака тучевые дивясь, и промолвишь навзрыд тихохонько: Господи, хорошо нам здесь быть с тобой. Веришь ли, как вода мимо нас идет — как пишет, идет — как стоит; купол небесный так неприметно крадется всю ночь к утру, и Царствие само Небесное так грядет-не грядет. А присмотришься резче — летит, летит всей плотью плавной Итиль. Чудно бы, честное слово, окачуриться на этих привольных клочках. Отойти мечтается в пору ягод, чтоб пригоршней земляники уста себе усладить и в Жизнь Вечную с тем и выйти. Право, Господи, не лишнего ли звеню, и вообще — что забыл тут, чего не видел, к кому пришел? Или точила шершавого не видал? Нет, не надо мне ничего, ничего не забыл я тут, и любому дяде троюродный я плетень. Где ты, смертная година, чего замешкалась в отдаленье, подай мне знак. Но вернешься на материк и разом за суетохой забудешь резоны свои, снова терпишь и лямку тянешь в отличие от Петра и других удалых калек, что лямке веревку надежную предпочли. Да, не рисковая, не лихая мы косточка, не высокого мы, на поверку, парения.

Крылобылка, змей вещий, на поминках рассветом как-то восстал, весь от костра светозарный, весь в травинках и мурашах, и объявил в полный голос, чтобы у прочих огней, в том числе и блудящих, на его и на остальных островах, спящие пробудились: братрия

возлежащая, ныне провожаем в пакинебытие такого вежду окрестных охот, как Федора, Егора, Петра. Его мы все знали, затем-то нам и печально, поэтому и беспробудничаем столь бессонно. Помянем же усопшего по-человечески, возвестим каждый всякому, какой он здоровский жителин слыл. Зашумело в тот понедельник по островам гуще прежнего, стали званые и незваные удавленника добром поминать, и алкать завелись по следующей. При затменьи во вторник настал мой черед, и докладываю, что, не скрою, виновник наших невеселых торжеств клиент был достойный, и что ножи ему беговые или булатные я точил регулярно и остро, со ссылкой на прейскурант. В среду почтарь один сизокрылый слово берет. В Федоре, признается, души я не чаял, почту всегда доставлял ему в разумные сроки, писем его из чистого любопытства не распечатывал, но если и распечатывал, то запечатывал заподлицо. А в четверг погребальщик разговорился. Незаменимый, уверяет, покойник наш был верховет, но и я же не промах — покои ему сварганил на-ять. Прокураты они, погребальщики, невозможные. Дам пример. Пробовали вы в морозные поры лопатой землю долбать? Слишком уж механически получается, невпротык. Наломались, намаялись и быгодощенские на копке сперва ледяной. И приелась им таковская канитель, прекратили по холоду ковырять, летом и осенью роют, впрок. То есть, прикинут примерно, сколько на круг по окрестности публики за сезон отойдет — столько ямин и сделают, даже гака не ленятся прихватить, а в дальнейшем лишь подровнять там да сям, и надзор. И учитывая, что с середины четвертого квартала до середины второго платы взимают по мерзлому ценнику, то становится очевидно и завидно — зима задается у них непыльная. А затесался меж нами Калуга по прозвищу Кострома, харей мордатый и матерой, до того матерой — что аж шеи нет. Суету деревенскую

не уважал, сидел на острове, в бочке, оброс и властей недолюбливал ни в какую. В воскресенье приплыл на плоту в нашу заводь и замечает: нечего было Петру с этой бабой идти. Интересно, куда ты денешься, волчатнику возразили, не ты же ее выбираешь — наоброт. Все одно, отвечал, нечего было ему идти, не сходил бы — не сбрендил бы из-за нее и с сиднями бы в чекушку не лез, а не лез бы — со всеми нами бы нынче гулял. Берегись, Крылобыл Калуге предрек, как бы чаша и до тебя не дошла. В тот же день при закате солнца просыпается Кострома не в себе: кто это меня из осоки сейчас поманил? Да никто тебя не манил. Нет, манили, пойти поглядеть. Он в осоку юркнул точеную и пропал, а когда обернулся на третьей заре, обступили, расспрашивали: ну? Он сказал им: она. Сладко было? Не спрашивайте. Сам лыбится, как в родимчике. Берегись, Крылобыл остерег, как бы горько не сделалось. В среду ягоды волчьей Калуга поел; умирая наказывал: будьте бдительны; сыздетства на нее я зарился, но терпел, а сегодня увидел куст — и не вытерпел, крушина спелая, крупная да и кручина моя велика — побаловались, она велела, и позабудь. И се, пощупайте, копыта уж — лед. И задумался. Ты гляди, не фартит как, сетование распространилось по островам, самый лещ по ручьям на нерест пошел, сети рвет, а у нас — то поминки, то похороны. Отвлекусь я. Догадываетесь, кто дама эта, Фомич. Раз дремал в катухе я дремном — приснились яйца. Кто-то явится, так и знай. Пробудился и выхромал помолиться на двор. Пала звезда бирюзовая, остыла Волга, поредели други мои и друзья, и заборы все в инее, и сам я не более, нежели имя на скрижалях Ее. И смешливый, и невелик аз есмь, неразумный. Ночь — как ямина долговая: когда еще вытащат. Но Ты — кто бы ни был, Ты — не покинь. Так молился. И тут голос мне сразу же: посетит особа некая ваши места и пойдет через пень-колоду все здесь. Я потек, упредил;

сомневаются. Что такое рассказываешь нам, что еще через пень-колоду может у нас пойти. Как желаете. И препожалует раз в знакомое вам кубарэ непреклонных лет человек Карабан. На пороге споткнулся и сосуд небольшой прозрачный в виде чекушки — вдрябезги. Будет вам бражничать, в треволнении отрубил. Тихо образовалось, как у глухонемых. Преподнесли ему. Выкушал. Отдыхал я, повествует, под ильмами, возле банного пепелища, у портомойных мостков. Ночь как ночь, только в зелень ударяет из-за звезды, и луна как луна, только рыжая. И по рыжей дороге лунной, как по мосткам, от Гыбодощи сюда, к Городнищу, близится плесом неторопясь непонятная незнакомая. Собою — бывалая, битая, но и телом щедрым подстать — бедовая, тертая, словом — раскрасива до слез. Грешным делом решил — тетка просто помыться надумала, забыла, что сгорело порхалище наше давно. Как вдруг пригляделся, а это Вечная Жизнь уже. Села рядом, и мы с ней нежничали, но не прямо-таки, а будто бы заказал нам кто — полегонечку. Побаловались — пошла себе, легка на помине. В общем ясно, посетила она, посетила, Карабан заключил. Приняли мы тогда, зажевали. Не хлещем, говорит, но лечимся, и не как-нибудь, а как простипомы.

11. ОПЯТЬ ЗАПИСКИ

ЗАПИСКА XIX
Портрет знакомого егеря

Март хрустящ и хрустален
И сосулькой звенит,
И дыханьем проталин
Через фортку пьянит.

В сумрак, настом подбитый,
Настом, как наждаком,
Ты выходишь, небритый,
Штаны с пиджаком.

У тебя есть ботинки,
Но не в этом ведь суть,
Можно ведь полботинки
Смастерить да обуть.

Труд сей, право, не сложен,
Зашла коли речь:
Надо лишние кожи
От ботинок отсечь.

Ты — бродяга, ты — странник,
Лохмотник хромой.
Странен край твой на грани
Меж светом и тьмой.

Вон идет коромысло
О ведре лишь одном,
Ну да в этом-то смысла
Боле, чем в остальном.

Ты — заядлый волшебник,
Ты кудесник хоть плачь,
Но не плачь, есть решебник
Всех на свете задач.

Ты — обходчик, ты — егерь,
Пальцев — пять на руке:
Отпечатки на снеге,
Оттиски на песке.

В этом хвойном заречье,
В деревянной глуши,
Раскудряв и беспечен,
Живешь на шиши.

Жизнь твоя — дуновенье,
Ветерок заводной
И бобылки сопенье
Благосклонной одной.

А живешь ты в сторожке,
Есть-имеются где
И гармошка, и плошка,
И ружье на гвозде.

На газетной бумаге
Сообщение есть:
Стерляди в Стерлитамаке
И в томате — не счесть.

А еще ты — гуляка,
Помалу не пьешь,
Оттого-то собаку
Свою волком зовешь.

Побеги ж на пуантах
К родимой реке,
Сыт и пьян, сыт и пьян ты,
И нос в табаке.

Спотыкнулся, свалился
И веселой гурьбой
По щеке покатился —
Уж ты, милый ты мой.

ЗАПИСКА XX
Баллада о городнищенском брандмайоре

Снова жадаешь луку во сне,
А на зимниках — жижа, зажоры.
Только мжица дожрет этот снег,
На пожарку прибудут стажеры.
Удалые прибудут, бодры —
Нараспашку душа, в разлетайках,
Коротайках, угрях, таратайках,
Худосочные — прямо одры.
Дупелиных полян знатоку
В газырях и в мерцающей каске —
Не лупить глухарей на току,
Но давать горлопанам натаску.
Брандмайор — человек при усах,
Но презрев почечуй и одышку,
Он в апреле взойдет при звезда́х
На свою каланчу, или вышку.
Козыряет дозорный стажер,
Газырям говоря про пожары,
Что они — над районом Ижор,
Разумея лукаво Стожары.
Не у нас, отмахнется службист,
И глядит в направлении дельты,
Где прожег свою многую лету,
На брандвахте варя брандыхлыст.
Поглядит — и утратит покой.
А на утро, со злобой какой-то,
У брандмауэра стажеров строй
Брадмайор обдает из брандспойта.

ЗАПИСКА XXI
Вышелбауши
(венок записок)

1

Безвременье. Постыдная пора.
От розыгрышей уши, лбы пылают.
Был спрошен: Вышелбауши бывают?
Ответствовал: то хутор в три двора.

2

Достойно ли вести, как детвора,
Глумясь над всем, подобно стае бестий,
Не почитая завтра и вчера
И позабыв о совести и чести.

3

И я хорош — доверился, простак.
Неужли было трудно догадаться,
Что выше лба ушей не может статься,
А хутор Вышелбауши — то так.

4

Развесил уши — и попал впросак.
Ползут по местности невыгодные слухи,
Что я, Запойный, олух и чудак,
И голова садовая два уха.

5

Безвременье, постыдная пора,
Достойно ли вести, как детвора,
И я хорош — доверился, простак,
Развесил уши и попал впросак.

ЗАПИСКА XXII
Прощание городнищенского лудильщика

Шуга отошла. И на пристани
Защелкал на счетах кассир.
Всмотрись в обстоятельства пристальней
И валенъ повесь на блезир.
Хромая и как бы случайная
Весна забрела на Валдай.
Скажи — прощевай, наша чайная,
Холера тебя забодай.
Послали козу за орехами,
Пустили козла в огород —
Лудить самовары за реками
Артель направленье берет.
Прости-прощевай, наша чайная,
До белых сыпучих путей,
Местечко отнюдь не скучайное,
Уют слепаков и культей.
За реками луда блестящее,
Там гуще и щи, и камыш,
В лузях с балаболкой ледащею
Поладишь — в лузях и лудишь.
Вольготная жизня за реками,
Но ярче бы тульских полуд —
Остаться мне было б с калеками,
С гуляками на лето тут.
Прощай, Городнище, товарищи,
Махни, говорит, мне крылом,
Сойдемся Бог знает когда еще
За нашим всегдашним столом.
Да брось ты возиться с прорухами,
Не терпится в путь посошку,
Плесни, дорогая старуха, мне
Стопездесят грамм портвешку.
Имеется график на пристани,
А на пароходе — кафе.
По-графски важнецки и пристально
Буфетчик стоит в галифе.

ЗАПИСКА XXIII
Портрет перевозчика

Пой, перевозчик,
Ушкуйник ушлый,
Рыж-конопат,
Пой, раздобарщик,
Ушкуй твой утлый
И конопать.

Воспой обводы,
Уключин крепость
И якорек,
И наши годы,
Всю их нелепость,
Ёк-макарек.

Люблю я, друг мой,
Когда корявый,
Живой, как ртуть,
Зачинишь вдруг ты
Не ради славы
Чего-нибудь.

Стучит в апреле,
Манит на волю
Твой молоток.
И в самом деле,
Пройтицца, что ли,
Под вечерок.

Пропахла сечкой,
Портянкой, свечкой
Вся сторона,
Чудной чумичкой
Глядит с отвычки
Мадам Весна.

Из дальней дали
Меня заметив,
Глаз-ватерпас,
Забудь печали
И, ликом светел,
Достань припас.

Не жмись, щербатый,
Открой, как душу,
Свой бардачок.
Я ж, тороватый,
Тащу покушать
На пятачок.

Катятся воды
Сами собою,
Своим путем,
Уходят годы,
А мы с тобою
Себе живем.

ЗАПИСКА XXIV
Меж собакою

Меж собакою и волком
У плакучих ив
Потерял мужик иголку,
Дырку не зашив.
Он в траве руками шарил,
В молодой траве,
И нашел какой-то шарик
В этой мураве.
И тогда зовет он: братцы,
Чего я нашел!
Те пришли — и ну играться.
Было хорошо.
Шарик то они подбросят,
То поймают, а
Между тем уж пали росы
Прямо на луга.
И туманы выползали
Из реки Итиль,
В избах люди зажигали
Ламп своих фитиль.
А туманы выползали
И лизали кил,
В лампах было мало сала,
И фитиль коптил.
Проходили пароходы,
Баржи волокли,
Волоклюи и удоды
Сватались вдали.
Пароходы проплывали
С баржами и без,
И неясно волки али
Псы промчались в лес.
Неожиданно от шара

Свет пошел — да-да,
Пригляделись — то Стожаров
Главная звезда.
И на той звезде туманной,
Взорами горя,
Много правды необманной
Знают егеря.
Там туманы выползают
Из реки Итиль,
В избах люди зажигают
Ламп своих фитиль.
Там собакою и волком
У плакучих ив
Потерял мужик иголку,
Дырку не зашив.

ЗАПИСКА XXV
Портрет разъездного
(Второе воспоминанье о городе)

Что значит разъездной? То значит,
Что по делам чужой удачи,
Мечтая свет переиначить,
Один чудак по свету скачет;
То род призванья — разъездной.

Он холост. Тщетной головой
Черемух ветви задевая,
И ей вопросы задавая —
Что значит, скажем, разъездной —
Носки заштопать забывая,
И дым глотать не оставляя,
И бицеклет терзая свой,
Он мельтешит, как заводной.

Он беден, глуп, ему не спится.
Не спится, няня, что со мной?
Он, если стар, то молодится,
А если молод — вскоре стар.
Он бредит: у него катар
Путей дыхательных. Бодрится:
Побриться ль? Няня, помазок!
Да что же на ночь-то, сынок?
Молчи, стряпуха, мне Жар-Птица
Вчера привиделась во сне
И предрекла нам пожениться.

И хоть порезаться боится,
Все правит бритву при луне.

Крутясь в такой-сякой стране,
В провинции или в столице,

Он поражен, как мир вертится
И возмутительно дробится,
Являя случаи и лица
Почище всякого кино:
Там маскерад, там ловят львицу,
Здесь — полуголая девица,
А тут — извольте насладиться —
Полуподвальная мокрица.
А мать твердит через окно:
Заклей-ка на зиму окно.

Зиме конец — весне случиться.
И разъездной на слякоть злится,
Которой улица стремится
Ему заляпать ягодицы,
Употребляя в дело спицы
Великосветских колесниц и
Кабриолетов и ландо.

Подобно крякве подсадной,
Под дулом крякать обреченной
И бельевою бечевой
С охотником соединенной,
Навряд ли знает разъездной,
Какой он мог бы быть иной,
Будь не заезжен он ездою,
Как утка — службой подсадною,
Родись он только под звездою
Какой-нибудь не разъездною,
А утка — не под подсадной.

(Apropos, вечером в реке,
Когда нельзя уж в бильбоке,
Когда поспели самовары
И на террасах тары-бары,
Когда, вязанье отложив,

Ваш дед *Над пропастью, во ржи*
Читает бабушке, когда
Та призадумалась, а сыр во рту держала,
Когда зацокали кресала,
И вот еще одно *когда* —
Когда пропали провода, —
Мы видим звезды в глубине:
Ведь подсадные все оне,
А остальные к ним с небес
Катят отрадою очес:
Загадывайте без промедленья.)

Но не дано. Судьбы решенье
Пересмотреть, alas, не нам.
Из некоторого учрежденья
Я тут привез пакет, мадам.
Позвольте, что опять за хлам!
Помилуйте, виднее вам,
Однако, распишитесь — там.

И снова едет разъездной,
То прямо едет, то свернет.
Мил человек, ты кто такой?
Да я, папаша, сам не свой.
Собака гавкнет на него,
Дебило глянет и сглотнет,
Сглотнет и глянет, и икнет,
И носом клюнет,
А после сплюнет и затрет
Подошвой слюни,
И не с того да не с сего
Распустит нюни.

Настанет время — все пройдет:
Народ ликует. Каплет мед,
Минуя високосный рот,

Пирующему на манишку,
И клянчит у пивной Удод
Рублишко на винишко,
А изнутри другой орет:
Винишка хочет — ишь ты!

То соловей муку дает,
То мельница засвищет.

Крутясь в стране такой-сякой,
Стране немазаной, сухой,
Давно немытой головой
Себе вопросы задавая
И ею ж ветви задевая,
То мчит, то скачет разъездной,
А к утру, воротясь домой,
Мычит и плачет: Боже мой,
Так вот что значит...

ЗАПИСКА XXVI
Почтовые хлопоты в мае

Что это мне oncle мой любезный не пишет,
Времени, что ли, опять у него совсем нету.
Странно, посулил ведь — напишу тебе непременно;
Вот, свидетельствуйте, не пишет и не едет ни мало.
Очи, за реку глядя, проглядел я все, право,
Хоть бы пиктограмму он предпослал, родственник милый,
Так-то, мол, и так-то, такие-де у меня планы,
И́наче же и кинуться куда — ума не приложишь,
Вечно с дядей таким шиворот-наоборот происходит.
По́ходя ноги себе росой умывая,
Выбегу о заре встречать нашего почтальона:
Нету ли ныне пакета на мое, так сказать, имя?
Нету, разочаровывает, повидимому, разочаровывает, пишут,
Тщательные, видать, задумчивые у тебя адресанты.
Ладно, постоим, поточим лясы слегка мы,
После в хоромы я его к себе зазываю:
Эх, заскочи ко мне теперь, Сила Силыч,
Гостем будешь, понимаешь, потолкуем немного,
Зря я разве сварил вчера не́ктар.
Зря, мой Нестор, нектар у нас не варят,
Зря на свете, практически, ничего не бывает,
Зря и заяц не приснится никому кучерявый,
Нектару мы, конечно, твоего немедля пригубим.
Вот заходит ко мне дражайший почтарь Сила Силыч,
Капельный такой, видом на редкость никудышный,
Впрочем, перепивал, бывало, и самого Крылобыла;
Внешности, получается, доверяй, да проверяйся.
Да, заскочил, стало быть, ко мне Сила Силыч,
Ух, заскочил, шапкою, сняв, губы вытер,

Ну, и я сразу связисту и себе наливаю:
Пейте, пожалуйста, добрые люди, селяне,
Пейте, а то теперь живы, а завтра, что называется, ой ли.
Ой ли, ой ли, кивает, тут ведь не в курсе,
Где обрящешь, а где в одночасье утратишь,
То ли дело, когда уже в ящик сыграть соизволишь,
Там уже пиши — не пиши — все прахом пропало,
Там постскриптумы твои, что мертвенному припарка.
С этим Силыч стакан весь незамедлительно и пригубил.
С Силычем и я тут поступил вполне сообразно:
Принял, а после, не мудрствуя, нацедил снова,
Дабы со следующей нам не мешкать лукаво.
Так вот, я ему говорю, Сила дорогой Силыч,
Так вот и живем мы с тобой, хлеб жуем мы
Черствый, а то знаешь на сем берегу что болтают,
Разное, признаться, болтают на берегу сем,
Волки, болтают, на том тебя, вроде, съели,
Как ты мыслишь — факты это или же байки?
Слышал, слышал, докладывали и мне известье,
Гость, поглаживая оцелота моего, молвил,
Только я и сам легонечко сбит с панталыку,
Может, съели, а может, пустые то враки,
Бабушка, выражаются, пополам говорила.
Тут мы с Силычем пригубили опять, снова-здорово,
Или, что называется, подовторили.
С другом Силычем зелье губить наладив,
Друга Силыча решил я кое на что подзадорить:
Вот бы нам почитать невзначай некоторые цедулки.
Верно, Яша, резонно у тебя черепок варит,
Силыч мне с достоинством на то замечает,

Что мы, разве других письмоносцев плоше,
Где это слыхано — чужих не читать эпистол,
Что же нам прикажете читать себе еще тут.
Вскрыли мы тогда несколько с ним свитков.
Смотрим — чего только не сочиняют люди друг другу,
Что, оказывается, их всех только ни заботит:
Сильно, мощно разлита в народе эпистолярность,
Словно эпидемия какая-то распространилась.
Павел Петру в Городнище из Быдогощ, скажем, пишет,
Дядю дрожжей закупить молит браговарных,
Букву какую-то непременно найти его умоляет,
В душу лезет, пристал с ножом к горлу,
Дяде в кубарэ не дает надудлиться малость.
Петр Павлу в Быдогоще из Городнища отрезал:
Букву эту, милок, сам себе ищи неустанно,
Деньги ж, даденные мне тобой, я профиршпилил,
Знай поэтому, что дрожжи тебе завезу ой ли.
Кроме этого, наждачник Илья пришлый
Тоже потянулся на старости лет к стилу вдруг,
Жалобу Сидору Фомичу Пожилых накатал он,
Сетует — костыли у него в метель увели-де,
Егери, якобы, Мелкого Плеса унесли их.
Дайте сроки, получит ведь грамотку и доезжачий:
Псарь мой ловчий, когда б не случилось в том ну́жды,
Стал бы я разве нижеследующее к тебе строчить? нет.
Слямзили люди твои, ау, моих опор пару,
Пусть-ка возвернут поскорей, зимогоры,
Или, передай, покажется вам всем небо с овчинку.
Егери точильщику царапают бересту купно,
Видимо, передал им доезжачий Ильин ультиматум:

Мастер-ламастер, упырь и дурной и вздорный,
Зрели мы тебя в гробу с твоими костылями,
Прыгал бы ты, одутловатый, к бобылке на хутор,
Ябедничать же станешь — изведаешь, почем фунт лиха.
Грамоты прочтя и жеваным мякишем их запечатав,
Допили, догубили до дна жбан емкий,
Время расставаться тогда нам с Силычем накатило.
Эх, он шапку тогда свою напялил и вышел,
Обнял меня, духарягу, расцеловал — и дальше.
Силыч, говорю, чего это мне мой oncle все пишет?
Зря, возражал, и заяц никому из нас, кучерявых.
В Быдогощах, между тем, бузина вся — цветенье.

ЗАПИСКА XXVII
То не вспарочной Жар-птицы

То не вспарочной Жар-птицы
Сполох дольний — скок-поскок,
Издалека в колеснице
Скачет к нам Илья-Пророк.
Ну и Бог с ним, ergo — буря,
Ergo — грянет, ну и что ж.
Егеря расселись, курят,
Ждут-пождут, но медлит дождь.
Вижу я, как только видно
Все становится на миг:
Над бадьею змеевидный
Так и вьется змеевик.
Этот аспид самодельный,
Благ источник и утех,
Был точильщиков, артельный,
Но утянут был у тех.
Оправдания не ищем —
Ну украли, что с того,
А кто ругается над нищим,
Тот хулит Творца его.
Процедура постепенна:
Капля медлит — егерь ждет,
И напротив — сколь мгновенно
Ловит жужелицу кот.
И еще обыкновенно
Жизнь мгновенна, как назло,
И напротив: сколь нетленно
Никчемушное грязло.
Перейду. Непостижимо.
Покрутился — и уж нет.
На души моей обжимок
Набредет слепой рассвет.

И под брань моих бобылок,
Чубуром жмыгуя хвощ,
Тела белого обмылок
Повлекут на Быдогощ.
Но покуда — вот я, в кепке,
С мужиками у реки.
Сохрани нам, Боже крепкий,
В эту грозу челноки.
В упрежденье ауспиций
Шью охотничий костюм,
Но летят из рук вон спицы:
Ergo — в дупель, ergo — sum.

12. ЗАИТИЛЬЩИНА

Содвинулись все происшествие обсуждать, но тут раздался оркестрион и от попурри не воздержались. Эх, шерочка, да ты машерочка, косолапочка, престарелочка. Горе тебе, Городнище большое, мощнеющий град, в минуту пляски у меня мелькнуло немножечко. И действительно. Именно с того дня есть-пошла эта смутная Заитильщина, то есть те нелады, ради коих и разоряюсь на канцелярии. Слышали новость? Налимы, в луну влюбленные, с целью к ней воздусями проплыть, исподволь лунки во льду просасывают. Наподобье того и мужицкая особь сбеленилась и тронулась из-за дамы той. Выплывут, карасики, в смутный час на бугор, сядут на что попало и мечтают напропалую о ней, из горла посасывая. Ждут, что снова она наведается, хоть любому известно — бывает редко, а когда и бывает, то зрят лишь считанные, которым свиданки эти, как правило, идут не впрок. Воздадим тем же Гурию, Федору, Калуге, или же Карабану В., кто пока что не отошел, но усох и лает: першит. Горе, горе тебе, Городнище с окрестностями, все вокруг и пустое, и ложное. Заверяет бобыль бобылку: еду на затон поботать. Но покрутится меж островов, сделает немного тоней — и все его видят вдруг среди себя в кубарэ за чашкой вина. Возвращается индивид во свои круги, берется за прежнее. Баламутим, чудим, проказники, ни о чем не печемся, отвратно на нас поглядеть. Полагаете, достойных манер не знаем? не благовоспитаны, как надлежит? Знаем, благовоспитаны, руки даже перед едой, фарисейничая, умыть норовим, но в основном все одно — бедокурим, не в рамках приличия состоим. Жадность также нас обуяла. Лежим под

вязами, затрапезничаем, и подвязаются разные: а нам не предложите? А мы не даем, мы хаем: ступайте, еще открыто, соображайте в своем пиру, алкаши такие. И татьба, извините, татьба несусветная, и отпихнуться сделалось нечем как есть.

Шел, читайте, из-за всеобщей реки, выдвигаясь в Сочельник от Гурия, с его похорон. Угощение обустроил тот погребальщик, он приглашал: заползайте, желающие, куликнем на старые дрожжи, черви козыри. Я заполз. Гнил парнишка, рассказывают, в кавказском сыром кичмане, а надоело в неволе — бежал. А наскучила и мне эта тризна, захотелось к своим починщикам, с ними захотелось вкусить Рождества. Затерялся мальчонка в горах — я в сумерках. Я катил восвояси, и вихорь слезу вышибал, и она же катилась радостно. Щи не лаптем хлебаем покудова, соображаем, что значит острым ногу набуть. Грустновато, тем не менее, между собакой на просторе родимых рек, хныкать вас подмывает, как того побирошу в четверть четвертого. Хмарь, ни кожа ни рожа, ни тень ни свет, ни в Городнище, ни в Быгодоще: взвинтил я темп. Штормовая лампа горняцкая, даренная главным псарем за долги в счет мелких услуг, телепалась в пе́щере за плечьми, и во фляге ее побулькивало. Но возжечь не спешил, в курослеп еще хуже выслепит, и вот — называем летучая мышь. Противоречье, погрех. Слепит не ее ведь — нас лучами ее слепит, мы, выходит, летучая мышь, а летучая мышь не мы никогда. Почему, разрешу спросить, Алладин Рахматуллин не с нами, а подо льдом скучает сейчас? А чего ж, скороход опрометчивый, лампаду в сероватости засветил. Залубенели бездомные облака, залубенело и платье мое, поползла поземка по щиколку. И лишь город бревенчат картинкой сводною сквозь муть проступил, понял я, чуня, что домы его все шиты из пепловатого такого вельвета с широким рубцом, и

кровли их — войлок, а может, с фабрички шляпной некрашеный фетр снесли. Чу, вечер вечереет, все с фабрички идут, Маруся отравилась, в больничку повезут. С фабрички-не с фабрички, но шагал на гагах и снегурах по тому ли по синему гарусу различный речник; кто с променада идеей, кто из лесу с елками, кто в магазин, но все далеко-далеко, не близко. Неприютно оборачивается одному, растревожился. Веришь-не веришь, но есть кое-кто тут невидимый среди нас. Тормознул и светильник достал — гори-гори ясно, с огнем храбрей. И тут волка я усмотрел за сувоями. Не удивляйтесь, зимой эта публика так и снует семо-овамо, следов — угол. Лафа им, животным, что во́ды мороз мостит, и без всякой Погибели обойдешься. Перевези, ему говорят, на ту сторону козу, капусту и даже чекалку. Только не сразу, а в два приема, чтоб не извели друг дружку по выгрузке. И кто с кем в паре поедет, а кто один — решение за тобой. Ни козу, ни капусту везти не желаю, Погибель сказал, а тем паче его, пусть и в наморднике, перипетий нам на переправе хватает и без того. И когда усмотрел за суметами серую шкуру и глаз наподобие шара бесценного елочного с переливами, то заскучал я, козел боязненный. Побежать — увяжется хищник, в холку вцепится — и пиши пропало, копыта прочь. Да, смутился, но более осерчал, возмутился. Умирать нам отнюдь не в диковину, а по изложенным выше причинам и надлежит. Но от твари дремучей мастеру смерть принимать неприлично, неудобняк, уважение, хоть малеющее, должно к себе заиметь, мы ведь, все же, не вовсе заживо угнетенные, не вовсе шушерский сброд. Не отдамся на угрызение, стану биться, как бился тот беглый парнишка в чучмекских горах, торопливо дыша. Мышь летучую поставил на снег, скинул пещер, ободрился. Зверь сидит, наблюдает, голову набок склонил. Что кручинишься, Волче, налетай, коли смел. Уперся, нейдет. Достаю из

запазухи горбулю обдирную и маню — на-ка, слопай, голодом, вероятно, сидишь. Волк подкрался, свирепый, хвостом так и машет — хап — и пайку мою заглотнул. Изловчился я, гражданин Пожилых, ухватил его за ошейник — и ну костылять. Мудрено индивиду в таких переплетах баланс удерживать, в особенности на лезвие́, ну да опыт накоплен кое-какой, без ледовых побоищ у нас недели тут не случается. Как сойдемся, обрубки, на скользком пофигурять — слово за слово, протезом по темячку — и давай чем ни попадя ближнему увечия причинять. Толку мало, конечно, в подобных стратегиях, однако есть: дружба крепче да дурость лишнюю вышибает долой. Супостат изначально упорство выказал, вертелся лишь, как на колу, скуля, но не вынес впоследствие — рванулся, Илью завалил, но доколе ошейник выдерживал, я побегу препятствовал, и валялись мы оба-два дикие все, белесые, ровно черти в амбаре. А вдруг лампада моя угасла, рука моя ослабела — чекалка утек. И взяла меня дрема хмельная, лежу испитой, распаренный — судачек заливной на хрустале Итиля. И пускай заползает заметь в прорухи одежд, пускай волос сечется — мне сладостно. Положа руку на сердце, где еще и когда выпадает подобное испытать, ну и виктория — хищника перемог. А поведать кому — усомнится: где шкура-то. Черствые матерьялисты мы, Пожилых, в шкуру верим, а в счастье остерегаемся. А с холма, с холма высочайшего, словно государев о поблажках указ, пребольшая охота валила вдоль кубарэ, ретируясь из чутких чащ: Крылобыл на хребтине какую-то тушку нес, а стрелки, числом до двенадцати, — вепря труп. Интересно, что рожи у тех носильщиков от выпитого за срока стали точно такие же, колуном, да и шли они как-то на полусогнутых. С полем, с полем, охотников я поздравлял. Олем, олем, мрачные они трубят, будто умерли. Очевидно, мороз языки их в правах поразил. С наступающим, я сказал.

Аюющим, Крылобыл передернул, лающим. Славный, слышь, выдался вечерок, говорю, приятные сумерки. Ок, старик согласился, умерки.

Наконец докатился я, заваливаюсь в цеха. Там сошлась к тем часам вся точильная шатия — сошлась, разыгралась. Где в жучка святотатственного завелись, где в расшиши, а некоторые, грыжи не убоясь, чеканку себе позволили, тряпок несколько на живую нитку сплотив. Озорничают, разгульничают, а одернуть, поставить на вид положительно некому, вольгот развелось всемерных — мильён. И тогда, хватанув рассыпухи, сказанул я коллегам сочельную исповедь-проповедь. Доходяги и юноши, я призвал, больше тысячи лет назад родился у южанки Марии Человеческий Сын. Вырос и в частности возвестил: ежели хоть единая длань соблазняет тебя — не смущайся: немедленно отсеки. Потому что куда прекраснее отчасти во временах благоденствовать, нежели целиком в геенне коптеть. Все мы усекновенные, и грядущее наше светло. Взять того же меня. Отпрыск своих матери и отца, штатных юродивых с папертей Ваганьковской и Всех Святых соответственно, начинал я с того же, но после известного происшествия судьба моя окаянная, овеянная карболкой и ладаном, меняется вкруть. Припускаюсь в различные промыслы и профессий осваиваю — куда с добром. В результате мытарствий, в итоге их, прибываю сюда и зачисляюсь в эту артель. Предстою я тут перед вами, вы все меня знаете. Пусть нагрянет к нам завтра в обед Мерзость полнеющего запустения, карла одряблая, дряхлая и картавая: с дятлым клювом. Но инда и перед ее физиомордией я скажу, говоря и с гордостью, что не ведаю выше имени, чем скромное прозывание русского по-над-речного точильщика. И если грянет мне голос — да брось ты свои ножи-ножницы, заточи, понимаешь, ради общего дела Итиль по правому берегу до грозного жала,

навроде косы, то отвечу: пожалте бриться. Но не завидуйте, что снаружи могуч и сухарь — я внутри прямо нежный. И точу ли с кем лясы, железы ль — я их, а меня — по Орине грусть. Что за женщина, не изживешь ни за что. Но не корите, а кайтесь. Не у всех ли из вас завелись знакомки свои постоянные, но на медок потягивает к незнакомкам, к непостоянным, вожделеете ко греху. Знаю, бобылок своих привычных жалеете до гробовой доски, ибо тел и натур ваших порченых неудобоносимые бремена они, крепясь, переносят. Но возлюбили также и даму пришлую, и любите беззаветно, которая вам никто, и это тоже наравне с безобразиями и татьбой нареку Заитильщиной. Пламень, в принципе, надо б на вас низвесть, но пока погожу, потому что и я же хорош, сам не лучше — с одной прописан, хозяйство веду, а по другой пламенею. Потому-то и донимают Илью побасенками запечные эти сверчки. Чуть заслышу — всплывут наши с ней вылазки и поездки по пригородным городкам с кузнечиками. Так не корите, и дело с концом. В те хмельные периоды возникали различные пришлые типа лудильщиков, бакенщиков, щепенникóв. Извинялись — на огонек, а в действительности — на дармовщинку. И они заодно разведовали: не подскажете, кто это из суки псаревой паршу всю повыколошматил? Господа, я в неведеньи, вот чекалку — да, его били, клочечки по закоулочкам. И выдал им про баталью, сорвав приличный аплодисмент. По прошествии праздников покидаю артель — восхожу, бахвал, в Городнище. Тоска по домашней оладье гнала под приютный кров, желалось и ласковости. Что я понял, бродя, — через что все устроено? Ничего я не понял, бродя, в том числе, через что все устроено. Вижу только — бобылка есть вентирь, Фомич, она — вентирь, а ты — натуральный ерш, и пораньше, попозже — но ты ее. Помните случай — не ждали. Я тоже притек, покаянный, она же бранит: что, притек, окаянный? Понапрас-

лины не стерпел, распустил я тем Сретеньем руки, но и приятельница в долгу не осталась, воспользовалась моим обстоятельством. После чего примирились, оладий, раздобрившись, напекла, а там и до себя допустила. Едва проерыщилось, выскакиваю в сенцы — нет моих принадлежностей неотъемлемых, а оставил их тут в твердой памяти, в огуречной кадушке, крышкой даже прикрыл. Их держать тут привык — бобыльское ее чистоплюйство с костылями в горницу не велит: оно и с одною подошвой вашей хлопот полон рот, подтирай за вами ходи. А подсолнухи сами на пол лущите. Вас я не спросила, чего мне лущить, не я здесь покуда жиличка у вас, но вы. Поглядел на крыльце — аналогия. Ведьма варево на лежанке тогда разогревала уже. Друг мой, я женщине этой рек, отчего вы опоры мои истопили в печи в угоду огню негасимому? Ой, плетете вы сами не знаете что, окорачивает. В таком разе спроворены, я заключил. Поделом вам, глумилась, ведь сколь упреждала, чтоб с вечера не отлынивали штырь в щеколду совать — и ухом вы не вели, вот и расхлебывайте. Нет, это вам поделом, пипетка вы этакая, это вы заставляли в тамбуре их оставлять, значит обязаны отныне Илью повсюду на санках возить, ибо новую пару приобрести я лично не усматриваю накоплений, а хватит ли у вас сил с убогим возиться, не хватит ли — никого не касается, а на которых салазках первомаем рассчитываете выгуливать, и вовсе не интересует совсем. Тэ-тэ-тэ, твердит, тэ-тэ-тэ, тараторка трепаная. В сей же день я обрел у ворот подметную грамоту, обмотанную срамной резиной от панталон и называемую — расписка. Цитатую. Дана гражданину И. П. Синдирела в том, что его принадлежности плакали связи с тем, что того-то числа ледостава-месяца он метелил ими гончую суку Муму, а возвращены ему будут вряд ли бы; мелкоплесовские егеря. И строчу я ихнему доезжачему — волк. Доезжачий ответствует —

выжловка. И пошла у нас летопись. Она шла и идет, а я сиднем сижу-посиживаю. Профмозоли мои начинают понемногу сдавать, да зато набиваю писчие. Чем еще увлечен я? С дурындой грызусь, частушки ей вспоминаю смачные. Девки спорили на даче, у кого чего лохмаче, оказалось, что лохмаче у хозяйки этой дачи. Заливается — колокольчиком. Еще прошлое озираю — путешествия, странствия.

А изобрази на прощанье чего-нибудь, разъездной горевал, заделай нашу, побеспризорнее, или же общежелезнодорожное наиграй. Растянул я меха, а инспектор описывает. Он описывает — я пою. На Тихорецкую, я пою, состав отправится, вагончик тронется, перрон останется, стена кирпичная, часы вокзальные платочки белые, глаза печальные. Ух, нормальная, брат гореван. Я пою — он докладывает. Про охоту, про то, как отправился он на охоту по жароптице не так давно, и ботинки его охотничьи на подступах к Жмеринке внаглую из вагона снесли. Или про то, как загляделась на него в его молодости персона, служившая на энском разъезде, где пестроватый шлагбауман, а поручик, в те годы корнет — ноль внимания. Начнет расспрашивать купе курящее про мое прошлое, про настоящее, налью с три короба — пусть поражаются, с чем расспрощалась я — их не касается. На охоте, ошарашенный кражей, по цели выпалил, да не попал, но теперь, весь в регалиях, но век до нитки спустя, рассуждает, что главнеющую птицу судьбы проворонил, скорее всего, не под Жмеринкой, а на том пестроватом разъезде, деваху мурыжа холодно. Вот и нашли ее, говорит, под насыпью. Откроет душу всю матрос в тельняшечке, как тяжело-то жить ему, бедняжечке, сойдет на станции и не оглянется, вагончик тронется — перрон останется. Пел и мучился: ласточка ты моя, на кого покинула, сына забрав и фамилию обменяв ему и себе, и

где вы оба сейчас — кто вас ведает. На берег Дона, на ветви клена, на твой заплаканный платок. Величали тебя по баракам — Орина Неклина, чья теперь ты, какого, положим, Паклина? А матросик — моряк-то, который в купе тебе встретился — смекаешь ли, кто? Прежде и я не знал — кто такой, какого флота, пропал или списан? Такой неизвестный казался, хоть памятник ставь. Ныне верю — матрос Альбатросов, и списан вчистую. Позвольте, знакомство с ним наше по ходу поезда. А попечитель слезу распустил, все песней не налюбуется. Видите, русский наигрыш даже и крупных чинов прошибает, а что уж с меня, с мизерного, взять — я очень расстроился. А посмотреть за окошко — там тоже веселого мало: хибары, декабрь. И какой-нибудь цы́ган, сума переметная — копия нас — с котомкой на палке и связками сушек на шее заместо монист — топчет саван родимых пространств, и пусть держится кандибобером, в очах его прочитаем, что положение швах, что брести далеко и всегда, пусть порой и не лично нам, а подохнем — настанет других черед, и поблажек особенных не предвидится. Худь свою прошлую и настоящую я в двух словах изложил — и мотало на стрелках. Да, блажен, блажен ты, Илья, позавидуешь, претерпел и хлебнул как следует. Не говори, говорю, так блажен — что-то дикое. Опрокинули, пропустили. На боковую? — инспектор икнул. Я — ему: не потягивает, я по больницам свое добрал. Зубы чистить пойдешь? Виноват? Зубы, спрашиваю, спрашивает, пойдешь чистить? Извиняюсь, я — пас, не требуется. Совпадение, он сказал, обе челюсти не свои. А чьи же? — я посмотрел. Государственные, на присосках, поручик сказал, на. И вынул. Я посмотрел. Понравились сильным образом — белые, острые, что костоправ прописал, вот санитария шагает. А ты примерь, примерь, не стесняйся, поручик подбил. Я вправил. Ну как, приходятся? Как в аптеке, поручик, как на Илью они эти

детали лили. Дарю, он вскричал. Что ты, что ты, возможно ль, такие презенты. Сродственник ты или нет, он вскричал, имею я право брательнику зубы преподнести: соси и помни. Ну добродетель, ну выручил, я всплакнул. Не бери в голову, попечитель смеялся мне, пусторотый, играй. Я запел, заиграл — бегло-бегло, словно бы из сибирских руд. Горя мало инспектору, что теснота — в пляску ударился, прелестями трясет. В светлой памяти юности мы таких паренечков жиртрестами прозывали: ничего, откликались как миленькие. Карусель я заделывал, вероятно, в ритме перебранки колес, Карусель филигранную: шевелись, раззадоривал, шевелюра. И находила на Илью в том же ритме удачная мысль, что, мол, зубы вставил негаданно задарма. Ай, зубы вставил я, эх, зубы вставил вдруг, мне зубы вставил сам, и так далее. Чего только не перемелет русский дурак за дальнюю дорогу из лазарета в Терем под скрип реборд; перемелет — и станет мука. И мотало на стрелках. До упаду плясун мой плясал: завалился на полку — и храповецкого. Снял я, значит, ботинки с него высокие меховые, бросил на добрую меморию в заплечный мешок, добрал, что оставалось в баклашке — на посошек, и приветствую в тамбуре моряка: на побывку, до маменьки? Вышло, говорит, у нас в каботаже нижеследующее чепе. Плавали на мариупольском сухогрузе два кореша, два кочегара — второй и первый, и море раскинулось им вполне широко. Но ведь когда второй из лучших соображений привязанности к анапской пацанке первого подбросил ему в антрацит какое-то нехорошее вещество и ушел, то шли они как раз в Балаклаву, на завод газводы. Товарищ ушел, он дверь топки привычным толчком отворил — и готово дело. Значит, когда он врубил поддув и посунул свой шобер по самую, как выражаются на флотах, сурепку и пошел этим шобером шуровать, то шарахнуло — полный

кошмар. И пламя его озарило. Тут заскакивает в котельное отделение тот кочегар, а кочегар ему: вот, полундра, имеем аварию, плакали наши золотники со всеми их клапанами — дай мне в зубы, братишка по этому поводу, чтоб дым из меня пошел. Дать не жалко, братишка над ним ухмыляется, только чем ты ее, папиросину, желал бы я знать, прихватить имеешь в виду? Я посмотрел, говорит, а у меня кистей моих что-то нет, оторвало — слезой блестит — как отрезало. И я, говорит, сказал тогда — кочегар кочегару: тоже мне, кореш еще называется, кочегарически говоря, швабра ты после этого, а не матрос — и мать твоя переборка.

13. КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

Изморози — перейти. Курам — ходить по песку, удивленно печатая своими курьими ножками. Не любить этих птиц, но любить наблюдать, как печатают на мокром песке, не подозревая об этом; и ни о чем. Балаболки заслышались. Перекликались, но не аукались, т.к. шли вместе, сплоченной стаей. Мойра, проводившая в палисаднике на скамейке свои перезрелые годы, тоже зачуяла голоса. Тогда она отложила спицы, которыми с утра ковыряла в ушах, привскочила, всмотрелась в ту сторону и выкаркнула: ведут. Клубок серой шерсти скатился с ее колен, скакнул на клумбу и, сминая анемические ханимуны, покатился куда-то клубком брачующихся гадюк. Баракам — ждать. Вступая в обитель апрельской прелести простоволосо и в шапках, и не вытерев ног, говорили: ведут, накачалась. Сложному, смешанному духу самокруток и папирос государственного кручения витать над собранием интересующихся. Никого тут не знать. Неплательщик усеченной каморки обыкновенно был вне, ему — пропадать на хранилище вод, у эллингов, клянча фантики у бесстыжих гребчих. Мускулистые тренеры, люди среднего возраста, уничижали просителя. Шла с распущенными, голову запрокинув, чтоб видеть сплошное синее. Белое демисезонное, распахнутое. Но завтра пригреет — и уже в сарафане. А кикиморы — в черном. Шоссе фиолетовое, в лиловых лужах, и если еще о красках, о впечатлении, то вот — мелкая молодая листва, на фоне которой дается шествие, сообщает вам впечатленье зеленого дыма. Две смертельно костлявые — под руки. Прочие шли, охраняя, кольцом, и все искали дотронуться. Уже давно, несколько мгновений замечал происходившее

там, несколько лет замечал все из окна. Впервые — когда-то, потом — то и знай, а затем — постоянно. Когда бы, куда бы ни: черная ликующая сороконожка, горбатая мокрица полуподвальная. Меняется время года и дня, длинные платья стаи меняются на долгополые балахоны. Меняются декорации, освещение, обувь статисток, но жесты, гримасы, походка — не обнаруживают варьяций. Когда октябрь и на черствый сухарь гудрона ложится субтильное масло слякоти; поскольку туман и по сточным канавам старушьих морщин сочится милдью, ложно-мучнистая божья роса; если поздно, темно и осколки бутылочного стекла не блестят ни у пристани, ни в мусоре мусорных куч; то ли январь ставит болтухам ветроснежные кляпы в их тощегубые рты; ниже февраль-кривотроп, снабдившись клещами вьюг, тщится вытащить вещим трещоткам их сухожилые языки; или же лето, но пасмурно, и растут, возрастают над местностью слоисто-кучевые, вымеобразные, — когда и поскольку, да если, да то ли, да или — тогда и постольку, и следовательно, стало быть,— никто не заметит приближения экспедиции, а и заметит — не выкаркнет, а выкаркнет — не будет услышан, а будет — безрезультатно: ютясь в керосиновом теплом чаду, опасаясь полипов и гланд, бараки не встретят, не выглянут. Лишь ты, начинающий лицедей, прикинувшись ревнителем цельсиевой шкалы, а в действительности оценивая мирозданье, точнее, один из его путей, всякий раз обнаружишь их снова на пути их к фанерной обители. Если свет помрачился, угас, злыдни засветят свечные огарки. Бедных, косматых и некрасивых узришь ты; черты их истошны. Стоило шествию, впрочем, спуститься с насыпи, приблизиться к огородам, где сутулились пугала, ступить на убитую детскими играми и печатными курьими ножками дворовую твердь, как все, достигнутое балаболками в деле преодоления расстояний, оборачивалось фикцией

чистейшей воды. Не помышляя вернуться, не отступив назад ни на шаг, шествие уже возвращено, сдвинуто, смещено на исходные рубежи, к горизонту, и, явно не замечая случившегося, продолжает однажды начатое — шествует, марширует, шагает, влача и толкая, понукая и поучая ту, чья голова запрокинута и увенчана столь несвежим, а издали — чрез очищающий кристалл пустоты — бантом поразительной свежести. И когда немало апрелей спустя один из ослушников разъездного училища окажется невольным свидетелем сизифого скольжения при клоаке-реке, оно, со всеми его особенностями, не явится вдохновенному юноше пугающим откровением. Сопоставит, сравнит два марша, отметит их сходственные черты и различия. Обернувшись при помощи байки в подобье кокона: они оба, заверишь как-то себя, грядущего на казенный общежитейский сон, они оба — симптомы неизлечимого временно́го недуга, исказившего естественное теченье событий и лет, течение бытия, русло течения. И зима навестила — вся в шевиотах и оттепелях. Пришла, горячо дыша нутром прикроватной тумбочки; то была сумма запахов — аседол, паста, вакса, копеечное средство, названное безо всяких обиняков средством против потертостей, мыло, и, разумеется, галеты Мария, присланные ею заказной бандеролью. Ты предпочел бы зиму, веющую матиолой, желал бы аромата гавайской амалии, однако не морщился, не отворачивался неприязненно из опасения, что обидится и пройдет, а ты ведь хотел получше запомнить ее — дабы на завтра, весной, оставив кокон до рога побудки, предать свидание карандашу и гуаши. Пришла и дышала. Пеплогривая, странная, цокающая ледяными подковами. И очнуться в цветах и цикадах, под одеялом с вышитыми верблюдами, которое вдруг стало мало. И очнуться в египетском саркофаге, в охотничьем шалаше, в башне господина Флобера, в Пизанской, в дупле тысячелет-

него баобаба, обернувшись большим большеухим коало, вниз ушами висящим. И очнуться в значении меньшем или же равным нулю, в качестве тушинской пригоршни праха, туго забитой в тульский мортир. Мария уходит, рассвет. Разбить и пожарить и съесть три яйца. Крошками хлеба кормить свиристящих двух птах. Склюют и почистят перья, и снова засвиристят. А другие птицы за стеклами летели в сторону солнца, а другие сидели на белесых ветвях, а четвертые пытались печатать на смерзшемся розоватом песке, но следов, к сожалению, не оставалось. Искоса глядя на фабрику, на дымы отдаленных заводов и на работника, что, страдая, катил по настилам сверхурочную трясогузку с тряпьем, восходило светило. *Визит тряпкореза.* Жанрист-подвиж-ник не нужен и неизвестен. Кухарка разорившегося аристократа потчует чем-нибудь завалящим заглянувшего на часок ухажора. Чаевничают на кухне за липким столом. Двери на задний двор приоткрыты, видна тележка, груженная благородным старьем. Непосредственно за двором берут начало задворки. За ними угадываются: кабак, шлагбаум, версты размытого тракта, острог, Сибирь и погост. Визитер неухожен, расхристан, корытолиц, его обличье носит следы всевозможных излишеств; кухарка ж вообще нехалява, а барин ее, худосочный седеющий ремоли, отчего-то прячущийся в чулане и робко лорнирующий работника (самый жухлый угол живописи), слегка отведя изысканной длиннопалой рукою замызганную занавеску, сам хозяин, в ночном колпаке и каком-то убогом, с обремканными кружевами жабо и манжет, исподнем, — совершеннейший нехолюза. Да не очнуться ль в его родовом поместье? В библиотеке? на витиеватой козетке? в лучшие дни владельца? им же самим? Сочинениям честолюбцев покойных мерцать в шкапах золотыми тиснениями корешков, коль скоро Селене, безмозглому детищу глухонемого сумрака, будто бы

проглотившей себя и тем потрясенной и возгордившейся, Селене с чертами диктаторствующей идиотки — вбирать своим сардоническим ртом, порами своего высокосиятельствующего лица кабинетную темноту, и свету — преобладать, и всему, что способно отсвечивать, отражать, блестеть и поблескивать — всему тому поблескивать, блестеть, отражать и отсвечивать. Но вот шевелению тополей, шебуршанию их мясистой листвы — предвестить скоропостижное утро, и луне начинать уже меркнуть и запрокидываться, закидываться, как в припадке падучей, скатываться с крыш несъеденным колобком, закатываться за них, капать в гофрированную ушную раковину, куда дудят по субботам щекастые дудари, сваливаться в парк военного отдыха, в купы платных платанов и публичных лип с их шевеленьем — скатываться, сваливаться и вертеться в их шебуршении чертовым колесом. Заря развенчивала, умаляла луну; так проходила ее слава. Сияние с неба проницало смеженные веки твои, лицо твое реяло. Но даже и в эти, исполненные высоких прозрений мгновения младости ты, в то время обыкновенный стажирующийся разъездной, не осмелился бы и предположить, что настанет пора — и ты сделаешься доезжачим. Первые метлы и скрежет хлебных лотков, изымаемых из ячей хлебовозов, и визг тех же лотков, съезжающих в преисподнюю по Бремсбергу: хлеб чьих-то ранних лет. А некто, столь же героически ранний, шел, страдая одышкой и сквернословием, а несколько погодя из пурпурных перст Авроры выскользнула первая конка — скользила по рельсам, везла пустоту, шипела подшипниками и троллеями и: вот и утро в мантии багряной ступает по росе восточных гор, — опубликовано было на маршрутной табличке приличествующими случаю иероглифами. И вообще — вдоль всей улицы самокатно шумели битком набитые экипажи. Вид пассажиров казался уныл, словно запах раскрытых,

заклинивших, как назло, зонтов, которые с точки зрения исподлобья так живо напоминают подмышки архиоптериксов, и которыми так и тычут друг другу в нос восторженно-сыро ворвавшиеся на остановке Театр восхищенно-сухо вырвавшиеся из него провинциалы после премьеры, открывшей очередной эзопов сезон. Неприметный сверчок окраин, в октябре ты особенно скрытен. Грустноглазый, вяло реешь клочковатою мгой, вечером тихо идя от качелей, от стапелей, от серых, как мокрая парусина, водно-моторных вод. Возникаешь, исходишь, находишь на: мелкий татарник перед шоссе, потом — на шоссе, на мелкий татарник за ним, на уютную балку Пренебрежения, на ненаглядные — ненавистные — ненужное зачеркнуть — палисады и кровли, чтоб и сонно, и слепо, и холодно заслонить это все, спрятать, сокрыть, утаить от чуждых свидетельств — клубясь, извиваясь и корчась раздавленно и бесшумно между пятью и шестью. Прячешь, скрываешь, таишь, а если спросить — отчего — не ответишь; наверно, не знаешь ответа? нет, знаешь, но не ответишь — и только. Только ответишь когда-нибудь, отюношествовав, отгоревав, отгорев, но, как и прежде, ревнуя ту давнюю местность к чужим на ней, ответишь за все. Неразумная девочка, сирота и дитя сирот этой земли, я зову тебя — оглянись. Ведаешь ли, как ясен и чист неумытый лик твой, и сколько земных печалей сестер твоих слилось в неземных чертах его. Одинокая и единственная из всех единственных и одиноких, коим числа несть, гори-гори ясно — там, на булыжном шоссе, здесь — на разъезжей росстани, и в тупике, где лопух. Гори белым цветом, безгрешным цветком, гори, горькая, гори, робкая, гори, заветная. Гори для Якова, гори для всякого, смятенно спешащего на свет твой. От Георгия до Покрова, от рекостава до рекоплава, и от черного поля до белых, осеняющих осень путей — гори вселетье, гори всезимье, и

белой пастушьей звездой твори повсюду свет кроткий, тайную милость твою. Радуйся — ни к чему не причастен извечный, нездешний твой образ. Там, на булыжном шоссе, здесь — на разъезжей росстани — гори негасимо в кругу погребальных старушьих голов-головешек — седых и чадящих. На том ли погосте, на той ли горе — белей отдаленно, гори вознесенно, плененная воинством людоподобных крестов, бурые бугры оседлавших. Гряди, радуясь, — все-то небо оглашаешь ты кликушеским балабала. И приидоша сумраки, и темные летуны к ночи совокупляются в черные стаи — и только выспренные пространства внемлют сему ответу.

14. ОТ ИЛЬИ ПЕТРИКЕИЧА

Клеши, мичманка с крабом, бушлат в якорях — картинка. Представляется: матрос Альбатросов, списан без рук с сухогруза на бал сухопутной участи; а сам-то с которого года? Рекомендуюсь и я. В нашу гавань, говорит, заходили корабли, большие, говорю, корабли из океана, в таверне, говорит, веселились моряки и пили, говорю, за здоровье атамана. Все это так, черноморец сказал, но коснись-ка ты мне за любовь, перетряхни чуток музыку. А Хризантемы хочешь? И предложил вниманию слушателя песнь заветную, жалостную. Отцвели во саду хризантемы давно, а тоска все цветет в моем сердце родном. Свесил румпель на квинту мой Альбатрос, запершил, кашель сухой морехода бьет. А как раз полустанок, и рохля хохлатская жмыхами обносит — периферия, окраина. Дверь рванул и ору: товарка, тэ зуби трэба? а то поиздержался в пути. Ой, трэба, трэба, без них зажурылась. Уступлю за трояк обе челюсти, подывысь, яки билы — кость. Уступил и сделался шепелявым сызнова. Ерунда, перебьемся, для благодарного закадыки и глаз на анализ. Скорый дальше — а мы в его ресторацию: кушай с голоду, лечись с молоду. Оккупировали на абордаж два посадочных и приказали всего восхитительного — до головизны вплоть. Огорчил ты печенки мне хризантемами этими, щукой быть, ведь когда был салагой, то я базировался на учебном плашкоуте, на утлой барже́, и не успел я очухаться, как на заплешине парка со всякими каруселями замаячила одна отчаянная мамзель — пацанка смурная, но безотказная. Поначалу один я с ней цацкался, потом корешей свободных от вахт прихватывал, и как раз она все песенкой этой мучилась. И как с

якорей снимались, я от аврала оторвался на час — и к девочке. На прощанье сует листок: все куплеты списала, и адрес на обороте — переулок, строенье и комната. Дескать, не забывай, шли фоточки. Но в походе писать особенно не о чем, запрещено, а после нас всех в училище на поруки приняли, а уж там тем более не до писем, времени — полный обрез: то губа, то приборка, то переборки зубришь, а то с кадетами из-за шмар номера — кроме шуток. Нет, морская душа, моя адреса не оставила, уехала просто неизвестно куда, и попробуй взыщи. Пробедовали мы с ней, прожительствовали в хавере ее весьма основательно, но не нажили ничего, кроме Якова — умненького, а все-таки дурачка, да и то — намекала, что не я его счастливый отец, со стрелочником пролетела, якобы, потому что при стрелке она состояла, сутками дежурила на первых порах. Где и как, дознавался, в котором часу? Да на куче дресвы подсыпной, выясняется, у подсобки, где ужинали. Ужинали-не ужинали, поди проверь, но я горюнился сильно. Резала Оря меня без ножа, но было, подчеркиваю, втерпеж, а невтерпеж наступило, когда перешла в диспетчеры, где бестактничала вообще беспримерно. Гребень как гребень, а твой, черепаховый, на путях утеряла. Спрашивал, сплошь обманутый, не решаясь на схлест — ну, а этот-то с каких барышей? Отбояривалась, вся наглая, — его на путях же нашла. Юдоль твоя путевая, мыслилось, сама же ты — непутевая, не моя, не со мною твоя главнеющая приязнь, не в этой вот конуре, не на этой лежачей возможности, а на все тех же путях, даже Яшку тебе на шпалах изобрели. Я задумался.

А заря, скажу откровенно, занимается в зеркале похлеще любой заволческой, хотя Вам, наверное, мало понятно, что мы, которые население, Заволчьем зовем.

Почему и гребу, водомер, на ту сторону. Резко-резко гребу, споро-споро, и мачты гнутся и скрипят, но Итиль широтою превысила спорость мою, и тощанка дневная утреннему комариному толкуну на ходу подметки срезает. Достигаю к обеду, и ялик рыбкой с размаху выбрасывается на песок. Перекурил достижение дукатиной Вашей второй и тащусь на скрипучих вдоль, наблюдая, как лилéи растут. Подтверждаю: не трудятся, не прядут, но одеты с иголочки. Но пробегая мои настоящие очерки, Вы вправе воскликнуть протест. Недоуменье улавливаю, не дышлом кроен, хоть гондрыбат, но давайте условимся раз навсегда: костыли — костылями, грибы — орехами. Не могу же я из-за первых, по мере их неприсутствия, тридцать лет, как тезка из Мурома, сиднем сидеть, оставив поездки по третьи и по вторые, да три по рогам. Слава Богу, навестил меня Крылобыл и, соболезнуя, надоумил. Илия, мудрит, Петрикеич, настаиваешь, время единовременно, что ли, повсеместно фукцирует? Я сказал: я не настаиваю. Мне таить, Сидор Батькович, нечего; если настаиваю — то настаиваю, а нет — то сразу: не настаиваю и баста, зачем темнить. И я прямо ему сказал: можешь обижаться, серчать, твое право, но вот тебе мое слово: ну не настаиваю. Смотри, Крылобыл, этот умняга, учит, давай с тобой не время возьмем, а воду обычную. А давай. И останови впечатление, тормошит, в заводи она практически не идет, ее ряска душит, трава, а на стрежне — стремглав; так и время фукцирует, объяснял, в Городнище шустрит, махом крыла стрижа, приблизительно, в Быдогоще — ни шатко ни валко, в лесах — совсем тишь да гладь. Потому и пойми уверенье, что кража, которой ты — жертва, случилась пока что лишь в нашем любимом городе и больше нигде, и на той стороне о ней и не слыхивали. Стоит, значит, тебе туда переехать — все ходом и образуется. Принял я это к сведению и заездил

на будущем челноке в позапрошлое. Главная сложность — добраться до причальных колов. Несмотря на графы, параграфы волонтеров ущербным способствовать недостаток у нас остреющий был и будет, на то мы и избраны. Посему в похождениях известного толка мне, дяде, соучаствуют знакомые Вам троюродные плетни. Перегреб и тащусь вдоль кромки Лазаря наобум, хромотой хромоту поправ, Вы же — здесь, в настоящем периоде, изучаете сей волапюк. Поднялись на терраску проветриться и обратили воображение на меня: наш пострел-то, заститесь, всюду поспел — в Заволчье точильщика зрю. Нет, это я Вас там вижу, ибо не я там, а Вы. Словом, оба мы правы. Ведь поскольку на разных мы сторонах, то и различная у нас география: Вы за Волчьей и я же. Ну и вот, дитя вниманьем забросила, возвращается выпитая, а я — скандалист. И однажды Орина мне напрямик, что давай-ка игрушки мы пополам. Илие делить было нечего, его всех игрушек из рода скабра типа тарелки-портянки — раз-два и умылся. Поместил амуницию во влагалище неветшающее, в мешок, поклонился изменнице, сынулю неро́дного, вероятно, поцеловал, съехал по перилам на нулевой этаж и открыл под лестницей как бы скорняжный цех, как бы холодным заделался скорняком. На поверку же промышлял крашением и сбытом надувных аптечных шаров разных, изобретал и уйди-уйди. Не вызывает сомненья, что тут и спал, и слегка погодя, во избежание недомолвок с держащими власть, промыслил патент. Каким Макаром — статья одиннадцатая, но заказов набрал — кот наплакал, приходилось вертеться по местным составам и перелицовывать кой-что из старья; поднаторел и на инструментах. А то — зальешься, бывало, зарею на свалку — и ищи-свищи тебя, непоседу. Широко и вольготно, рискну заметить, раскинулись отхожие эти поля; далеко-далеко отойдешь порой в поисках радостей — затеряешься. За трудами все

тянется незаметно, вот уж полдень, и если не заморозки, то жаворонки. Заберешься на гору хлама передохнуть — дух займется: сторонушка хоть куда. Осмотрите́сь. На западе ветошница при долине граблями мусор гребет, на севере сучара трехлапая рыщет насчет пожрать, на востоке сержант в запасе в ручье ковыряется — мотоциклетку бредит собрать по частям, а на юге шантрапа радеет по части чинариков. Мир, покойно, никто никому ничего, потому как человек человеку тут человек, не более; и дымки отечества повсеместно, как в то восстание — мусор тлеет по-тихому, панорама — куда ни плюнь. И такая к ней близость внутри щемит, что домой возвращаться — да ну его. Привлекают нашего обитателя просторы своей земли и рожна чужого он не взыскующий. В те же кварталы составил приличную, если выразиться, крышкотеку, собрание, то есть, разноцветных закруток от саморазличных микстур: одеколоны, духи, да Вы знаете. В этом смысле неоценимую помощь советами и приветами подавала та западная ветошница, тетка в теле, благовоспитанная и с опытом, а годков тянула с хвостиком на шестьдесят — деликатес да и только. Приключение позадавнее, и что было, того не утаю: увлечение с ней выгорело мимолетное, как случилось, впрочем, и с ее внучатой опечной, или вроде того, в чем, понятно, винюсь, если требуется, задним числом. Плоти дамской соблазн велик есть, эта штука такая — вожделеем и взятки гладки. Так и тут: начиналось почти что дуриком. Фордыбачила, сторонилась, хмурилась, а поглубже копнешь — все без разницы. Поговаривали по баракам, будто бы не в себе она, родом так, но я лично ничего исключительного бы не вменил. Единственно, голова у нее довольно-таки небольшая была несуразно, да ветошница уверяла — до свадьбы дойдет, оправится; что ж, дойдет так дойдет, опекунше видней. Один раз присылает свою девулю со шкуркой какой-то, чтоб

отмездрил, — и разволновался я на склоне судьбы. Только дурного не усмотрите, Фомич, я сначала лишь любопыство унял, как у нее обстоит-то, в ее, то есть, лета, знаете ли, ну и задвинул задвижку-то невзначай, от себя, читайте, тайком. Потом прикидываю — чем лукавый не шутит, рискну, не все ж по рассчету, с бабушками, неплохо бы и со внучатыми иногда, без ко́рысти. И случилось непоправимое, применился к невзрослой волнительно и сгоряча. Уговорились встречаться; когда под лестницей утешим себя, когда под карбасом. Через ряд месяцев стороной, от знакомого гитариста, кому обязан по гроб нотной грамотой, узнаю, что матросят укромно мою малолетнюю какие-то речники. Я — сквозь пальцы, не мыло же, не обмылится, а дело их молодое, правое — поматросят да бросят. Орина меня заботила, *ее* контакты сводили с рельс, и по ней, под карбасом, испытывая одиночество, горевал, по тряпицам елозя, которые сжечь бы, чтобы не пахли. А жировала на ветоши и взяла за привычку гулять по местам обнажения щекотливая дрянь вроде мух. Поначалу не беспокоили, напротив, приятствие извлекал, но ближе к Успению закусали, и поощрение кончилось. Жил да был во дыре уключины мизгирь-крестовик. Все он днище, как небо высокое, паутиной оплел. Насекомых отлавливал я и в тенеты к нему кидал. Как же душу он тварям этим, бессовестный, вынимал аккуратно, ужасы. Паша, грядый, Паук ты мой, Петр племяннику из деревни писал, я не видел скушней события, чем январь без дрождей, доставляй — кровь из носу. Сердцем верю, он продолжал, сердцем знаю — не подведешь, но умишко слаб, соблазняется: не привезешь ведь; ахти нам в таком разе, пьяницам. Именно тогда-то и шлет мне Павел известие с фенистом. Илюша, сударь, пророк ты наш, вот ведь втемяшилось нам с Петром браги себе запасти, а поскольку ты и без этого добра нам желаешь, и с буквой помог, то

не поверишь ли, кроме того, в долг деньжат, ибо дрожди в Заволчье всему предивному уподоблю, а зиму без оных сравню с весной без сапог, или с той же зимой, но без катанок; сном кобылы рябой, подвязается, запорхает над нами, апостолами, так уж пожалуйста. Раздобыл я бумаги, песку, обмакнул я перо в чернильницу и залюбовался на двор, где снеговая бобылка, мной лепленная, схватила форменную капель. На календаре — конец бокогрея, но скалится погоди, еще марток оставит без порток. Фениста, возражал я Павлу, напрасно не засылай, денег вам с дядей от Ильи не придет, я не деньги пока точу — исцеления, да и то уважающим, а тем паче на пропивон: не довольно ли зашибать-то; но перед тем, как я, может статься, вам денег пришлю, вы мне прежде доставьте с нарочным принадлежности. Которые? А те, которые вы и подобные вам преподобные спроводили в декабре, выбрав неразбериху сумрака и кутерьму буранчика. А до доезжачего сведения довел ультимат, что раздор наш решить хлопотал бы келейно, без вынесения на высокие кровли, согласясь, что не волк и не выжловка, но как бы ни то, ни се, наподобие раннего вечера, и рассчитывал бы, уступчивый, на возврат одного вместо двух. И ответ. Протри, оскорбляет, светильники тела и наблюдай, как бы не выбросило ненароком во внешнюю темноту. И тогда я решил предпринять настоящее к Вам послание, а Паука с его просьбой забыть, презреньем наказав. Сказано — сделаем, но не забыть — не к ночи будет помянуто — как душу он мухам хоботом своим вынимал под ладьей.

И задумался. Оря, ты Оря, раззуживали и тебя в изложинах на тот же манер. В будни получки, в аванца ль пятницы в знаменитых ольхах за линией гужевались с тобой бестрепетно не знакомые мне подмастерья,

удалые твои товарищи, учащие путевых ремеслух. Слабоваты вы, Орина Игнатьевна, как выяснилось, на передок, не ровно к сладкому дышите, и не гребень утратили на путях, но честь. За гранененький неполезной, кашинской, как вы только ни ласкались об них, злоблудучая фря. Что же, я бы тихо желал понять, никогда Илию так не баловала. Произрастала купина одна неявная, но густая и близкая, и в протяжные сумерки подмечал из нее самостыдное; содомляне вы были, матушка. Шел затем к малохольной, ища отыграться, но с ней — ровно с куклой: глядела, как оловянная, не потакая и в малой прихоти. В будень путейской получки, в аванца ль пятницу, дербалызнул от чьих-то щедрот, подобрал чего-то железное у депо и пожду в знаменитых ольхах за линией. И показываются те стрекулисты, недомерки в шестнадцать мальчишеских, и ведут мою профурсетку на лобную поляну любви. Я решил переждать — пусть начнется; тогда, отвагою более полный, и ударю из-за кургана коварным нехристем. Споро, пятеро, залили они буркалы себе и ей и поехали кто во что горазд. Эх, мерекаю, пора-не пора, иду со двора. А после соображаю: поспешишь — насмешишь, ненароком спугнешь раньше должного, погожу. И перечитываю от нечего делать подобранный также билет за номером, чтоб не соврать, восемь тысяч четыреста двадцать два ровно, годящий для путешествия в прошлом году до такой незабвенной земли, как Луговая Суббота. Принял свое участье в Илье настоящий картон, очень принял. Представляете, Луговая Суббота, Фомич. То есть, мало того, что суббота, но еще ведь и лугами обрамлена и, пожалуй, что даже и заливными. И ливенка в них заливается. И гуляет себе выходной, отутюженный, а то и с тросточками, народ, улыбаясь лучисто чему-то правильному. Все смиренно, никаких мордобитий, перебраниваются лишь извозчики с водовозами, но ведь и то зеваючи.

А замыслили компанией в теньке посидеть — отойдите, судари, в кущи, к особым ларькам, — и отдыхайте во здравие. Вообразил себе эту нездешнюю алафу и беру обязательство: что б ни случилось, какие ни передряги, ни прочее — Луговой Субботе в текущем существовании визит нанести. И завязал узелок. На галстуке. И когда мы с матрос-Альбатросовым свистнули себя всех наверх, резко оставив буфетец-вагон при пиковом интересе, и выдвинулись на полубак, то пароходец наш швартовался как раз у должного дебаркадера. Мы сошли, осмотрелись и прокантовались в этой дыре пару недель — глушь да дичь. На безденежьи и с уныния заторчали там, как тушканчики и, имея беседы с местными, говорили им, говоря: а еще Луговой Субботой зоветесь. Насшибали полтинник на курево и по веленью сердец почапали в Городнище дурить и, придя туда, ознакамливаемся: как жизнь молодая? Ничего, отвечают, нуждаемся понемногому. А закусить чем смекаете? Поторохами которыми-нибудь чрево набить — вот, смекаем почти всегда. И придя туда, стали там быть и, избыточествуя недугами, бывать. В день дорожной получки, в аванца ль день чекалдыкнул в пристанционном шалмане с путевиками-пропойцами — и ревную в купине с железом наперевес. Как выскочу, как выпрыгну с секирой — ага, уличаю, ага! А они — ату меня, ату. Ну, крепись, кричат, задрыга сякой! Четверо догоняют и сбили влет. И топтали, интересуясь: что, законно попутали мы тебя, бляха-муха? Попутали, плачу, околыши, застукали, молоточки в петличках, как есть законно. Рвусь — ан цепкие. Измордовали, что Сидорова, измызгали и — гляжу — повлекли, несчастливого, по серому шлаку да вниз мурлом. И втащили на насыпь, мизгирики, к рельсу проволоками колючими принайтовливают, неуемные. Льзя ли, гаврики, я страдал, что я — лисенок вам, что ли, какой. Цепкие, грабками хваткими к

шпалам воньким совсем пригнетают, дышать не дают каверзно. Прикрутили, как валенок к снегуру Норвегии — вдоль и намертво, пассатижами, и слиняли, бояки. Жутковато и мне — жду скорого. И — как принято — стал ушедшее освежать: как пожил на этот раз, пристойно ли. Так прикинул и эдак, а ничего, главным образом, характеристика. Господин слыл солидный, почтенный, дромом, что говорится, не грабил. И когда уже сыпались сверху огарки небесных дел, то возникла помочь эта странная, все-таки, Оря. Лисом бедненьким величала Илью несносного, проволоки откручивать принялась —и колотун ее бил. Я же всеми лопатками чуял, что подступает мой скорый, а проволок — масса и толстые. Метров маловато оставалось ему, фонарями уничижал, шумел. Я сказал: Оря, дусенька, до встреч, отойди. А она: ну, а вместе-то. Не со мной, отрицаю, с околышами ты вместях. А она: об этом не злись, с ними так я, со шпингалетами, — побаловаться, побывать, с тобой же мне радость выпала, было мне с тобой, как земле с травой, говорит, и нестрогость мою запамятуй — минуло, зажило, зубы острые, хвост долгий. Перепутала ты, мать, что-то путаешь, неужели всерьез я на лиса смахивал. У сороки боли, твердит, у вороны боли, говорит, у Ильи заживи, заговоривает. Я рванулся, рванулся, подернул, но частью не преуспел. Налетел, искромсал, горячий, руки-ноги по белу свету поразметал. Прибыло полку доходяг, принимай, командир, пополнение. И лечебница. Не обнаружив впоследствие на себе сего да этого, я вскипел и потребовал утешения. Подплывает врачина в шапочке. На вопрос, где подруга, — он скупое: с ней худшее. Костоправу — ступай полечись-ка сам, разрешаю вам не поверить, ишь — выдумали, я бузил. И потекло мое исцеление. Имелись газеты, шлепанцы, полагалось бритье.

И воспомнилось, как лезвиями точеными хвалясь, хорохорился Гурий в среде артельщиков, что не выпадало ему печали с доезжачим гонки гонять, обшаркаю, утверждал, как стоячего. В результате заспорили, поставили на кон вина. Получив извещенье-уведомление, доезжачий приветствует. Столковались бежать нормально, по-темному, и, обладая слепой дальнорукостью, как сейчас я их вижу — тот в латаном, тот в перелатаном. На разгоне рвали когти ноздря в ноздрю, а стремиться им было от самой что ни на есть портомойни до Слободской протоки, до Кабацкого острова номер два — и назад. И понеслась коньками резать лед. Снег вивучий следы их подвига порошил, и рыбы атлетов не столько видели, сколько слышали, зато в скромном будущем одного участника сподобятся, может быть, поклевать; молись, рыбка большая и маленькая. Начал Гурий за пару верст до поворота понаддавать, а доезжачий — поотставать, но принял Гурий немного правее, чем следовало, и угодил в полынью, в промоину в районе фарватера. Не застывает ни при каких кондициях, и немало сонных тетерь-ямщиков и лунатиков-скороходов там кануло. Не досчитались и Гурия, угодил — и течением его сразу под лед сволокло, так что псарь со своей стороны — лишь разнюнился. Тризну по волкобою порешили справлять без фактического его присутствия; ждать, пока он там выплывет неизвестно где и когда, ребетня ли его бреднем вытянет, никто как-то особенно не стремился, народ в большинстве своих случаев ушел в недосуг. Вот и съехались к погребальщику. Вы Заитильщину знаете, спорам и прениям здесь предел, хотя б и сравнительный, положить невозможно: заспорили про любовь — кто, мол, она, мадама эта, всецело прекрасная. Всяк свое утверждал; одни — подобно Василию Карабану — что Вечная Жизня зашла погостить, одни — напротив: раздор, недород, события. Я же, будучи пас, не встре-

ваю, держу нейтраль. Но Вам — Вам признаюсь, правда, не для передачи другим, а то и так тут Илью за горохового шута держат. Для чего, с какой немыслимой стати упросила очкариков меднаук, чтоб мозги мне запудрили — не разберу. Ныне же кается, ищет по всей реке: не среди ли вас тот, которого. Врут, что нет, потому что сами по уши втюрившись: не знаем, о ком печешься, но побывать с тобой каждый не прочь. И Гурий туда же, даром что чудь. Ненаглядная, умолял, плес наш не узок — широк, и где ютится сей юноша, я не имею понятия, сознаю лишь, что если бы заглянула на немного ко мне, то трен моей сути, узкий, как точеное лезвие, стал бы широким, как этот плес. Перебыла, поговаривают, с ним накануне решительного его заезда с главным псарем всего ничего, но и оно очутилось просителю боком. Беспокоюсь: погибель она моя суженая, и меня она, Оря, ищет, Фомич, тоскуючи. И не знаю, какие взять меры — пропасть ли без вести, или с повинной к ней приковылять самому. Но ни то, ни другое пока немыслимо. Крылобыл — вот кому доверяю, кого хвалю — Крылобыл егерей корил: вы, свет очей собственных, верните калеке калеково. Воссуетились, но искомого след простыл. Может пропито, может кинуто за ракитов куст, может просто уплыло вниз. Но Илье-то что за беда, Илье — вынь да положь, где взял. Заторчал, заторчал он сильно без них. Кому Слобода, Вышелбауши, кому Городнище, а он — сиди, будто на блевотине пес. Полюбуйтесь, к слову сказать, сколько их возле нашего заведения в оцепленьи дежурствует. Полагаете — подаяния ожидают? Отнюдь, им надеяться не на что, не заслужили пока. Нет, не подаяния — выдвиженцев ждут. И едва вы начнете изнутри выдвигаться, так эти псы собачьи катяхи свои леденелые глодать принимаются да языки показывают. Прост рассчет их: вероятно, на эти мерзопакости глядя, то ли просто от свежего воздуха, вы и стравите им макароны по-

-флотски за гривенник. А вы пожадничаете — завсегдатай поблагородней расколется. А ждуны подбегут — и пока суть да муть — все слопают, на морозе парного почавкать не худо ведь. И хмелеют немедля, и свадьбы-женитьбы у них происходят безотлагательно, прямо на́ людях, и родятся в итоге такие ублюдки, что лучше и не показывайте. Родятся, окрепнут и, как деды и матери — по торной тропе, боковой знаменитой иноходью — марш-марш к тошниловке. Ау, не обрывается здесь у нас поколений-то этих цепь, гремит, побрякивает, и не скроется с глаз наших чайная, стоящая на самом юру. Все мы детвора человеческая, дорогой, и пропустить по стопарю нам не чуждо. Вникните в мое положение по-истинному теперь, как же тело Илье раззудеть, не помятуя уж о более прикровенном-то. Препроводит подруга на лавочку у ворот — и сижу, маломошть, под соснами, соседок в соблазн ввожу. Чу! шапка снегу упала мне на чело; вольно ж тебе, дятел, гляди, достукаешься, удод. Сбили, сбили с панталыку Илью, очутился он с боку припеку, потешается публика над его субботами. Вот она, Заитильщина как таковая, Фомич, и небытия вкусить нам не терпится. Но не извольте побаиваться — перемелимся и назад. Все уже случалось на Итиле, все человеки перебывали на нем. Скажем, явится кто-нибудь, а его окликают: гей, людин-чужанин, будешь с нами? Но пришлый их окорачивает: обознались, я свойский, ваш, памяти просто у вас нет обо мне, наливай. Утверждаю и я — околачивался, селился, бывал Джынжэрэла на Волчьей реке, пил винище, вострил неточеные, бобылок лобзал и отходил, когда надо, на промысел в отхожий предел. Зато и мудрый я, как, приблизительно, Крылобыл. Тот примечает, настаивая: все — пьянь кругом, пьян приходит и пьян уходит, а река течет и течет, и все как есть ей по бакену. Я согласен, но уточняю: пьян приходит и сидит безвылазно в кубарэ, а она течет, но берега

остаются. А на берегах мы кукуем — и жизнь наша вечная. Но я заболтался с Вами, пора и на боковую. В случае чего забредайте почайничать без всяких обиняков — почайпьем, почаевничаем. Причем, чем осмелюсь донять, так следующим: нету ли фантиков лишних? Любитель, к собирательству владею призванием. Приносите как есть, заодно с конфектами. Соль же, спички и прочие специальности постоянно при нас. А за почерк дурной, вне сомнения, извиняйте, в известных торопях составлял, да и подлечился малость хозяйкиной милостью. И подпись благоволите. А если неграмотный — крест. Слушьте, откуда только фамилья подобная, где это я ее подцепил? Что ли я цыганский барон, то ли просто вётром надуло. Как бы там ни было, вышеупомянутое надо мне как-нибудь на бумаге запечатлеть. И песочком присыпать. Всего исключительного.

15. ЖУРНАЛ ЗАПОЙНОГО

ЗАПИСКА XXVIII
Воробьиная ночь

Воробьиная ночь. Не сомну
Ни подушки, ни в целом постели.
Полюбуйтесь, опять налетели
В помещение нетопыри.

Улетайте. Уж будет терзать.
Что вам проку в охотнике бедном.
Ведь и так на челе его бледном
Очевидна мучений печать.

Улетели. Какая печаль.
И тревога. И все, что угодно.

Рукомойник. Лопата. Челнок.
Перелаз. Одуванчик. Седло.
Занавеска. Иголка в стогу.
Сам с усам у кота во глазу.
Мотылек и лягушка. Жасмин.

Совершенно сухое гребло.

Неизвестен событий исход.
Так и будет сверкать бестолково,
Или грянет пророково слово?
Или только покаплет слегка?

Окарина. Телега. Стакан.
Чучела́. Чистотел. Таракан.
Перемет. Носогрейка. И жбан.

Ради воздуха линь или сиг
Сиганет из постылого плеса,
Сиганет и зависнет на миг.
Знаком крика.
Иль знаком вопроса?

Мотылек и улитка. И гвоздь.
И берданка на этом гвозде.
Борона. И застреха. Грязло.
Колобок. Стеклотара. Кобел.
Банка с ко́ломазью. Осташи.
И стрижи под застрехой.
Сидят.

Совершенно другое гребло.

Кто же взвоет в отчаяньи? Портной,
Потерявший наперсток стальной?
Или Царь, отдавая в мешке
За хромую кобылу полцарства?
Иль гусар, палашом по башке
Сам себя хватанув из гусарства?

Острова. Или тень стрекозы.
Или смерти речная коса.
Прозябание дальней лозы.
Шкура вепря. И сала кусок.

И кресало. И ржавый конек.

Гребень. Ступа. И помело.
И записка: ушла по грибы.
Октября позапрошлого года.

И подкова от лошади:
Слепок с ее же губы.

Или выспренно лопнет струной
Во саду гитарист записной?

Или Мамы-Марии улыбка.

Повторение. Жаба. Жасмин.
Рукомойник. И лужа под ним.

Чу: на том берегу, одинок,
Захихикал рыбарь-одноног.

Озарения. Запах озона.

ЗАПИСКА XXIX
Рассказы заво́дского охотника

Inter canem et lupum,
Меж волком и псом,
Оттопыренным ухом
Месяц плыл, невесом.
Мы гуляли в отаве,
Под каким-то кустом,
В отдаленьи составы
Бормотали мостом.
И жужжал в отдаленьи
Лесопильный завод,
Дерева на поленья
Он распиливал вот.
Наша общая кружка
Пахла воблой слегка,
Пахла ворванью, стружкой
И струилась река.
И заводский охотник
Нам рассказывал, что
Он — заводский охотник,
Он рассказывал, что.
И по мере того, как
Убиралось вино,
Зорче делалось око,
Очевиднее дно.
Но недоброй ухмылкой
Озарились уста,
Когда стала бутылка
Уж и третья пуста.
Но зеленой кобылкой,
Сушеной такой,
Проживала бобылка
Не зря за рекой.

Та бобылка-кобылка
Для гуляк, вроде нас,
Берегла то бутылку,
То жбан про запас.
Был, как ухо над лугом,
Наш челнок невесом,
И, труня друг над другом,
Заплескали веслом.

ЗАПИСКА XXX
За Жар-птицей

Мимо побегов, побегов осоки,
Скорый не столько идет, сколько мчится.
В нем и в ботинках, в ботинках высоких
Мчится охотник один за жар-птицей.
Строг проводник относительно чаю:
Чаю? не чайте, весь вышел давно.
Строг и буфетчик: не отвечая,
Вышел куда-то и тоже давно.
Н-да-с, размышляет высоких-высоких
Этих владелец ботинок-ботинок,
Глядя на: Пейте фруктовые соки! —
Высший указ, помещенный в простенок.
Сумерки, насморки, вот и граница.
И по вагонам, сверяя листы,
Горных, речных и болотных полиций
Бродят с проверкой ботинок посты.
Ваши ботинки. Ботинки? извольте,
Только учтите, что левая жмет.
Вы арестованы! Впрочем, позвольте,
Недразуменье, Федот да не тот.
Станция. Сцепщики. Циклю иль скобель
В сторону стрелки протащит столяр,
Смазчик пошутит со смазчиком, шнобель
Свой сизокрылый кривя, как фигляр.
Нечисть перронная, некто сопатый,
Партпапирос свой откупорив, кос,
Артикулируя, как логопаты,
Даст чаровнице пяток папирос.
Снова бежит. А тебе все не спится.
Ночь и лоснится, и пахнет, как толь.
Трепетно, жарко, стреноженной птицей
Брыжжет по жилам твоим алкоголь.

ЗАПИСКА XXXI
Эпитафии Быдогощенского погоста

Заброшена церквушка,
Былье пустилось в рост,
По сумеркам кукушка
Слетает на погост.
Кого она считает,
Кого она зовет?
Пропащих урекает
Иль просто так поет?
Придут об эту пору,
Короче говоря,
Сюда, на эту гору,
Гуляки-егеря.
Немедленно — по двести,
И сразу — по второй.
Привык ты с ними вместе
Поужинать, друг мой.
И любишь ты, хоть тресни,
Послушать их тогда,
Историй интересней
Не слышал никогда.
Откинувшись, весь тощий,
На безымянный холм,
Скажи: о, Быдогоще,
Страннопримный дом.
И мы, скажи, погоста
Забвения хлебнем,
Ну, а покуда — гости,
Хозяев помянем.

+ + +

Тут похоронен Петр
По прозвищу Багор,
Его все звали Федор,
А он себя — Егор.
Он был хороший егерь,
Но спорщик был и вор,
На краденой на слеге
Повесился на спор.
Кто спорил с ним — живите,
Да с вами благодать,
Его к себе не ждите,
А он вас будет ждать.

+ + +

Там — перевозчик Павел.
Жестокая судьба:
Он чаял, что избавит
Могила от горба.
Пошел и утопился.
Никто найти не мог.
Сам после объявился —
Раздутый, без сапог.
Семнадцатого мая
Препроводили в гроб.
Могила ты сырая,
Твой холм — не краше горб.

+ + +

Иван был стекольщик,
Хрусталь не любил,
Поэтому больше
Из горлышка пил.
Любил он толченым
Стеклом зажевать,
Но вдруг подавился —
И вот не узнать.
Любовь — это счастье,
А счастье — стекло,
Стеклянному счастью
Разбиться легко.

+ + +

Жил одиноко — один да один,
Шит был, хотя, и не лыком:
Дудки вырезывать из бредин
Мастером слыл великим.
Дуть ли в сиповку иль в ус не дуть,
Байки ли гнуть, подковы ль,
Все это, право, не важно суть,
Был бы гуляка толковый.
Бредит улыбчиво ветра мотив
В горьких губах осокоря,
Гурий-Охотник, берданку пропив,
Взял да и помер от горя.

+ + +

Здесь лежит рыбак хороший,
    Рыбу он скупал,
А потом себе дороже
    Продавал.

Позавидовали Коле
    Горе-рыбаки,
Встретили с дрекольем
    У реки.

Спи, Николка, Волга плещет,
    Блещет огонек,
Пусть тебе приснится лещик
    И линек.

ЗАПИСКА XXXII
Эклога

И вот, не отужинав толком,
Поношенный пыльник надел,
Сорвал со гвоздя одностволку
И быстро ее осмотрел.
И вышел из дому. Собака
За мной увязалась одна.
Бездомной считалась, однако,
Казалась довольно жирна.
Но это меня не касалось:
Казалась, считалась — все вздор,
Мне главное — чтоб не кусалась.
Я вышел. Вот это простор.
Из дому я вышел. Дорога
Под скрежет вилась дергача,
Вилась и пылила. Эклога
Слагалась сама. Бормоча,
Достигнул поленовской риги,
К саврасовской роще свернул
И там, как в тургеневской книге,
Аксаковских уток вспугнул.
Навскидку я выстрелил. Эхо
Лишь стало добычей моей,
И дым цвета лешего меха
Витал утешеньем очей.
Какой-то листок оторвался
От ветки родимой меж тем.
Зачем? — я понять все пытался.
Все было напрасно. Затем,
Домой возвращаясь деревней,
Приветствовал группу крестьян,
Плясавших под сенью деревьев
Под старый и хриплый баян.

Но месяц был молод и ясен,
Как волка веселого клык.
Привет вам, родные свояси,
Поклон тебе, русский язык.

ЗАПИСКА XXXIII
Возвращение

Охотник выстрелил — ружье дало осечку.
Прохаркала ворона невпопад,
И граммофон наяривал за речкой,
И пахло репами, как жизнь тому назад.

Чего спешим, бездумно тратя силы,
Торопимся вдоль пашен и крушин.
Вернемся ведь — а в доме все, как было,
И в зеркале — все тот же гражданин.

ЗАПИСКА XXXIV
Стрелецкая

Я пил накануне один до собаки и волка,
А после до мрака с матерым я пил вожаком.
И плакал о чем-то, шагая тернистой и колкой
Тропою в деревню, где слыл пропалым мужиком.
Мне снилось — я умер. И сверху полуночный кто-то,
Чьего я не мог рассмотреть, хоть старался, лица,
Направил: Запойный, вставай и ступай на работу:
Подымешься в небо, послужишь созвездьем Стрельца.
Во Вшивом бору, там где вепри особенно дики,
У тех ли полян, где жируют оленьи стада,
В купинах седых, осиянных луной, куманики
Нашел я начало дороги отсюда — туда.
Она была млечной. Не рос подорожник зеленый,
Не слышался в клевере сладкий умеренный гуд,
Не сыпались, как им положено, желуди с клена,
И времени мельники не алкали вино у запруд.
Мне было назначено следовать за Скорпионом.
Пернатые мальчики выдали лук и колчан,
Ягдташ золотой и коробку цветных лампионов,
Стрелецкой отборной вручили полведерный жбан.
Стреляю и пью. Но заволжской гнилухи бутылку
Я выдул бы с радостью, тем огурцом закусив.
Охотничьи бредни, что жив я и весел, курилка,
Питье и охота — веселие лишь на Руси.
Оставьте завидовать, зенками звезды бодая,
Походке моей, что гагачьему пуху подстать.
Тут нет ни одной, что б затмила бобылок Валдая,
И так на салазках никто вас не станет катать.
Не жив я, но умер. Чисты мои, как Брахмапутра,
Лохмотья и помыслы — убыло с ними забот.
Скажите, а что, неужели, как прежде, по утру
На тыквах блестит, как на лбах у загонщиков, пот?

ЗАПИСКА XXXV
Паклен

Туже заткни сиволдай
Пробкой из местной газеты.
Выйди, взгляни на Валдай,
Вспомни о ком-нибудь: где ты?
Неклен. А в сущности — клен.
Клен. А прищуришься — неклен.
Тщательно щупает склон,
Осоловелый и медлен.
Вспомни о ком-нибудь и,
Сдвинув на брови мурмолку,
К дереву по пути
Сказку придумай. О волке?
Неклен. А все-таки — клен.
Клен. А на деле-то — неклен.
Сутью своей полонен
И в шевелении медлен.
Жил-был за Волгою Волк,
А перед Волгой — Собака.
Он к ней добраться не мог,
Пил потому он и крякал.
Неклен. А в общем-то клен.
Клен. Да к тому же и медлен.
Осенью лист раскален —
Есть и латунный, и медный.
Пил обыденкою штоф,
Мертвую пил он и крякал,
Что ни за что ни про что
Разуважал он Собаку.
Неклен. Присмотришься — клен.
Клен. Приглядишься — ан неклен.
Ты это — или же он,
Рвань по фамилии Паклин?

Жалит разутую пядь
Сте́рни ржаная иголка,
Сядь же под некленом, дядь,
Сядь, чтобы не было колко.
Неклен. Призвание — клен.
Клен. А занятие — неклен.
Несколько всклянь упоен,
Впрочем, ступайте все на́ блин.
Ну-с, отвори сиволдай,
Зубы вонзая в газету.
Что там за валдабалдай
Пишет все эти памфлеты.
Неклен. Наклюкался — клен.
Клен. Очу́немаешься — неклен.
Сумерками ослеплен,
Медленной тлею облеплен.

ЗАПИСКА XXXVI
Препроводительная

Селясь в известной стороне,
У некоторой бобылки,
Слагал Записки; тут оне,
В приплывшей к вам бутылке.
Я составлял их на ходу,
Без всяческой натуги —
То в облетающем саду,
То в лодке, то на луге.
Иль на плотах, когда светло
Бывало до полно́чи,
Или в санях, когда мело,
Слепя мне очи волчьи.
Слагал, охотился взапой
И запивал в охотку,
Пил с егерями зверобой
И с рыбарями — водку.
Дочтя все это, вы потом,
Вбежав стремглав на почту,
Ловя, как рыба, воздух ртом,
Отправьте их. Усрочьте
Отправку: люди очень ждут.
Так ждут, беды не чая,
Мои коллеги в годы смут
Бесплатных чаен.

16. ЛОВЧАЯ ПОВЕСТЬ

Так, пытаясь собраться с мыслями, философствовал охотничий сторож Яков Ильич Паламахтеров, человек заурядного роста, обычного возраста и без труда забывающегося лица. Яков Ильич жил за Волгой, в небольшой, но неуютной казенной избе у края рамени, на заболоченном берегу, составляя компанию старому егерю Крылобылову. Паламахтеров жил, шил ичиги, чубуры, смотрел на воду, пил, ходил на охоты, закусывал картошкой в мундире и, желая разобраться в себе, пытался собраться с мыслями. На кухонном столе, среди предметов ловитвенной и домашней утвари, зачастую он замечал керосиновую лампу. Бывало, во фляге выходило горючее, и фитиль немилосердно коптил. При этом становилось понятно, что в медном чайнике, луженном некогда одним спившимся с круга и дурно кончившим точильщиком, в чайнике с самодельной проволочной ручкой, в котором хранили теперь керосин, не наберется и нескольких капель последнего. Со мною был чайник, — глядя, как отрываются от тлеющей ткани и летят вверх по прозрачному приспособлению искры, мямлил Паламахтеров, — чайник, единственная моя отрада в путешествиях по Кавказу. Рассуждая порою об этой горной стране, Яков Ильич усмехался тому, что мальчиком, начитавшись разного вздору, бурно мечтал о ней; позже Кавказ, подобно всем остальным местам, где ему не случилось бывать, стал вполне ему безразличен. Когда осознавал, что думает вслух, Паламахтеров тогда удивлялся. И говорил, адресуясь, повидимому, только к себе, ибо он находился в доме один, поскольку, дней пять прогуляв на той стороне, Крылобыл возвращался на

кордон без дрожжей и, сильно кручинясь по этому поводу, бил часами в клепало, висевшее на березе за псарней; обитатели ее возбуждались тогда чрезвычайно. А угрюмая злая нищенка, которую Яков Ильич с Федотом Федоровичем по весне подбирали на рыбном базаре и приспосабливали для своих холостяцких нужд, — та, с утра уйдя по грибы, нередко не шла и не шла, а к ледоставу и совсем пропадала. И Паламахтеров уверял себя: думать не так следует, а вот как. При этом он даже пытался жестикулировать, но получалось картинно и глупо, будто в театре, и далее он поучал себя, стоя недвижимо и вялые от смущения руки уронив. Нужно энергичнее думать, подчеркивал он, какую-то определенность в уме выковать, постоянно — тут он решал остановиться, имея в виду непременно найти замену тому неловкому слову, что готовилось уже завершить фразу, но остановиться не успевал, и слово срывалось, выскакивало — всякий день, говорил Яков Ильич, *выковывать.* Странное, отзывающееся чревовещанием, оно повисало в полутемном пространстве рядом разновеликих литер, болезненно светившихся коптящим фотогеновым излучением, и, будучи начертанным, оказывалось еще непрошеннее произнесенного. В волнении Яков Ильич рассматривал его и совсем неожиданно — ведь снег-то еще не выпадал — обнаруживал себя лежащим в розвальнях ногами вперед, а голова свисала и даже волочилась, и каждый раз, как сани миновали бугор или запорошенный пень, пропустив его меж полозьев, голова — как Яков ни силился загодя, упреждая удар, приподнять ее, — смаху стукалась затылком о препятствие и подскакивала с каким-то ореховым хрустом или щелчком, и тут же, клацнув зубами, как мертвая, вновь запрокидывалась. Положение усугублялось тем, что на ней не было шапки; последняя, как Паламахтерову следовало умозаключать, вероятно,

слетела, иначе, с жалостью к себе — с жалостью, хотя ни боли, ни явственных неудобств от всего с ним происходившего, ни унижения он не испытывал, будто все это происходило не с ним, будто он глядел на это со стороны — иначе, рассуждал доезжачий, иначе удары не были бы такими жестокими. Но, слетев, шапка — он замечал со временем — не терялась, а, привязанная за штрипку к вешалке полушубка, волочилась во след за санями, голове подобно, которая, все-таки, более подскакивала, чем волочилась. На ровных местах, когда не трясло, сознание оживлялось. Улыбаясь мелким разноцветным шарам, азартно снующим в высоте по сукнам запредельного биллиарда, — это мороз, это она он него такая, — о голове размышлял, — задубенела на холоде, вот и упругая, вот и скачет, и щелкает, как кнутом. И пусть он подозревал в настоящем объяснении некую фальшь и лукавство, тем более, что и мороза-то особого не ощущалось, оно совершенно устраивало его, и никакого иного ему не требовалось. Едут опрометью. Но коленопреклоненный возница, пристроившись у самого передка, все погоняет, выбрасывая в морок чащи клекот и хрип понуканий. Исполнившись опасений насчет ушанки, Яков Ильич часто оглядывается, поскольку он вообще может оглянуться, — как бы не потерялась. Да нет — попрежнему и прыгает, и волочится, поспевает за едущими мобильным обозом, и Яков Ильич, вознамерившись поблагодарить за оказанную услугу, за то, что столь дальновидно побеспокоились о его головном уборе — привязали вот, но не зная, кого благодарить, обращается к правящему, неисповедимым образом догадавшись, что это именно он, возница, ее привязал, и от него зависит ныне его, Паламахтерова, участь, и следует улестить спутника, сказать ему что-то доброе, как-то расположить к себе, Яков Ильич обращается к незнакомцу, говоря почему-то не своим языком и не извест-

но чьим языком: спасибо вам, благодарствуйте, шапчонку-то мою прикрепили, а то еду и прямо ума не приложу, где шапка, а она вот она, оказывается, где — к вешалочке прикреплена, премного обязан, я здоровия вам пожелаю вполне, а что мы с Крылобыльчиком к артельщику так отнеслись — так не гневайтесь, мало ли чего не бывает в быту. Конечное дело, погорячились, набедокурили, с кем не случается, но ведь и он же хорош со своей позиции; лампу краденую штормовую мы простили ему как списанную, но где это видано — гончаков изводить; думал, если он инвалид, то и дозволено ему все? Нет, границы у нас некоторые и для калечных намечены, пусть и шире, да еще и кляузы начал строчить, ябеда мелкая, будто мы его костыли утянули, словно иных егерей не имеется. И голос, и слова, и манера — все отдает неестественностью и елеем в речи его, все чуждо ему в его монологе. Но понимая это, неловкости никакой не чувствует, ему напротив приятно заискивать перед возницей, и хочется, чтобы поездка длилась и длилась, и чтобы его, Якова Ильича, с этой его головой, все везли и везли куда-то, личность жалкую, беспомощную и благодарную, а он бы все твердил негромко и вкрадчиво: шапчонку мою, к ушаночке, к вешалочке, — и сладко бы сожалел о себе, и, может статься, если бы удалось поплакать, то и всплакнул бы немного. Ибо, пытается философствовать он, что есть страдание, что оно такое есть, в самом-то деле, по самой своей сути, когда разобраться по-настоящему? как обозначить, определить его, в конце-то концов? Но не в силах будучи выделить суть страдания и по-настоящему разобраться в нем, равно определить и обозначить его, ловчий смиряется с обстоятельствами, и ему уже не хочется хлопотать ни о чем решительно, но желается, чтобы все кончилось, завершилось, прошло и никогда уже более не повторялось. Перейти, перейти, фанта-

зирует он, обернуться знобящим дождем Брюмера и повиснуть над бутафорским хламом предместья, над некой донельзя заштатной верстой, отчего бы не тридцать четвертой, считая оттуда, откуда нужно или откуда угодно; но не считая, поскольку не нужно и не угодно. Ничего не считая, заладить над пакостью сточных канав и отстойников, над супесью огородов и суволочью нив, над гурьбою фанерных бараков, пакгаузов и хибар; зарядить, унижая достоинство черных, больших, презирающих перелеты крылатых и гоня под навесы и будки будочников и псов окрестных; зазнобить, наискось пронизывая изверженья фабричных дуд, жестяных и кирпичных, и заставляя стелиться дымы огнедышащих маневровых по путям их; и идти по крышам складских помещений в подражанье путейскому кровельщику соответствующей дистанции, бубня и долдоня одно и то ж, и — как нетрезвый стекольщик той же дистанции, неся околесицу, осколками полную всклянь, застеклять зияющие провалы перспектив — и длиться, усугубляя кутерьму перепутий, проволок и портя вид старомодных — некогда бальных, а ныне присутственных — фраков и шляп огородных чучел, вороньих пугал и остальных персонажей.

17. ПОСЛЕДНЕЕ

Гражданин Пожилых. По истечении дней, синим часом, прохлаждаемся кое с кем на портомойных мостках — сумерничаем. И, как правило, проступают через туманы, из-за реки, пресловутые присной памяти. То Алладин Рахматулин залыбится невзначай, то Угодников Коля ненавязчиво подмигнет, то этот долгий, который со слегой краденой и с нее же длиной, возникает — старуху заплаканную с туеском ведет: разрешите рекомендовать, моя вдова, чуть не век без мужика мыкалась, спасибо — Зимарь-Человек, наконец, ей встретился. И выдвигается из-за реки Крылобыл, выступает, как по суху: что сидите? Да так, Царствия Небесного дожидаемся, — а тебя какая нелегкая принесла? Ободритесь, располагаю благим известием. Что ж, выкладывай, если не лень. Начинает. Гурия как хоронили — помните? Гурия, не Гурия, говорю, а лично я порожнее погребение это присутствием пропустил как неверное, но упаковку пустую, по мнению скорбевших печальников, зарыли с почестями. Точно так, объездчик рассказывает, а еще перед самым выносом ради солидности вящей предприняли мы что-нибудь подобное посунуть во внутрь, а буде объявится сам, то заменим. На беду ни подобного, ни бесподобного не выяснилось ничего и ни у кого бы то ни было — все, чертяки, свояк свояку проспорили, каждый каждого по миру пустил. Но случись во светелке на лежаке один недоподлинный гость из приблудных, которому с перебору вступило в речь и сделалось нехорошо и расслабленно. Личностью, дабы не беспокоила, обратили его к стене, на восток, принакрыли рогожею, и ответить, кто есть таков — со стороны бывало бы затруд-

нительно; да никто особенно и не вдавался, у нас ведь попросту: отрубился, сопишь в обе дырки — ну и соизволь почивать, кто бы ни был, лишь бы не озорничай. Инвентарь же — его, не его — как докажешь? — торчал непотребно в красном углу, под Скорбящей. Значит, снасти-то эти и сунули, и снесли — как в назидание, так и в виду их не слишком, но на безрыбьи — подобности. Теперь на досугах невольных мозгую: не из-за тех ли опор егеря Илюху-то ухайдокали, а он — гончаков, и не он ли, следственно, на лежанке тогда почивал. Так мозгую и перетак, а все сходится: не иначе — точильщиковы клюшки в тот раз погребли, пойти, вероятно, сказать. Вон как славно все обустраивается, Крылобылу я говорю, стало быть, завтра же надо бы их и отрыть. Стало быть, завтра же и отроем. Только как это я после тризны без них в Городнище попал, чем чекала, спрашивается, перемог и восвояси взошел? Это забота твоя, Петрикеич, нас в свои безобразия соблазнительные не впутывай. И линяет в дымах, погибает в маревах, но на завтра тревожит сызнова. Исполать тебе, душа-человек, Федот Федоров, да зачтется где следует добро твое, да оставлены будут твои все долги, а мое утопленье особенно. Ободритесь, глаголет, располагаю благим известием. Точно, старый, зарей и отправимся, правда, заступы наточить бы, неточеными до Судилища проковыряемся: задернело, поди. Вот такие у нас новинки, Фомич. Извиняйте, оказывается, за зряшное беспокойство, бывайте, являйтесь себе кем являетесь, и — счастливого Вам воскресения, так сказать. И последнее. Что об Илье болтают — тому не верьте, одергивайте злых языков. Ишь — разохотились, всех собак на меня склонны вешать, я ж единственно пару выжловок в отмщенье из берданы успел порешить, но и те бестолковые. Одна все, слышно, глухой прикидывалась, вторая — немой, на гоне голоса не подавала намеренно. Ну-ка, псина

несчастная, поди сюда, полижи мне струпья мои не-злопамятно, поврачуй, когда хочется. И чего это ты крупом столь перепала тут, в бытии не такая была дохлятина. Верю, скажи, зарей, скажи, и отправимся — выручим свои принадлежности. Ну, давай покалякаем, зачем напрасно в молчанку играть да кукситься. Или сокровенны тебе слова мои?

18. ЗАПИСКА, ПОСЛАННАЯ ОТДЕЛЬНОЙ БУТЫЛКОЙ

ЗАПИСКА XXXVII
Post scriptum

Увы нам, наш климат для нас нездоров,
Тут тянутся тучи цепочкой.
Нашедший Записки, на розе ветров
Пожги и развей мои строчки.
Как сгинула некогда Амзтаракань,
Татарской оравы столица;
Как вымрет когда-нибудь таракан,
Что пасся у хана в косицах;
Как в сильную оттепель тают следы
Полозьев и лосей наброды;
Как — столь же бесследно — пропали труды
Народов и сами народы;
Как после бутылки минует тоска,
Нам душу шершаво потискав, —
Так — столь же бесславно — исчезнут пускай
С чекушкою вместе Записки.
Кому это нужно все — вот в чем вопрос,
Зачем я, охотник-лохмотник,
На лоне бытья заскорузлый нарост,
Срамник, выпивоха и сводник,
Записки в верховьях реки сочинил
И сплавил в низовья куда-то...
Напрасная трата свечей и чернил
И силы теченья растрата.
Какая досада: лета напролет
Гуляешь, колядуешь лишку;
Посмотришься в кружку — а ты уж удод.
Хреново, худые делишки.

Предзимье застало за штопкой мешка,
Починкой мережи и бочки,
Но знаю — набухнут исподтишка
И лопнут настырные почки!

Попробуй пожги только, дурья башка,
Мои гениальные строчки.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО „АРДИС"

Владимир Набоков, ДАР
Владимир Набоков, ЛОЛИТА
Владимир Набоков, БЛЕДНЫЙ ОГОНЬ
Саша Соколов, ШКОЛА ДЛЯ ДУРАКОВ
Саша Соколов, МЕЖДУ СОБАКОЙ И ВОЛКОМ
Андрей Битов, ПУШКИНСКИЙ ДОМ
Василий Аксенов, ОЖОГ
Василий Аксенов, ЗОЛОТАЯ НАША ЖЕЛЕЗКА
Фазиль Искандер, САНДРО ИЗ ЧЕГЕМА
Иосиф Бродский, ЧАСТЬ РЕЧИ
Иосиф Бродский, КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ

Осип Мандельштам, ВОРОНЕЖСКИЕ ТЕТРАДИ
Осип Мандельштам, ЕГИПЕТСКАЯ МАРКА
НЕИЗДАННЫЙ БУЛГАКОВ
И. Бабель, ЗАБЫТЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Андрей Платонов, КОТЛОВАН
Евгений Замятин, ОСТРОВИТЯНЕ
Анна Ахматова, ПОЭМА БЕЗ ГЕРОЯ
Николай Гумилев, ОГНЕННЫЙ СТОЛП
Владислав Ходасевич, ТЯЖЕЛАЯ ЛИРА
Федор Сологуб, МЕЛКИЙ БЕС
Андрей Белый, СЕРЕБРЯНЫЙ ГОЛУБЬ
НЕИЗДАННЫЙ ЗОЩЕНКО
Михаил Кузмин, ФОРЕЛЬ РАЗБИВАЕТ ЛЕД
Николай Эрдман, САМОУБИЙЦА
Николай Евреинов, САМОЕ ГЛАВНОЕ

Эдуард Лимонов, РУССКОЕ. Стихи.
Алексей Цветков, СБОРНИК ПЬЕС ДЛЯ ЖИЗНИ СОЛО
Владимир Уфлянд, ТЕКСТЫ 1955-77.
Владимир Войнович, ИВАНЬКИАДА
Лев Копелев, ХРАНИТЬ ВЕЧНО
Инна Варламова, МНИМАЯ ЖИЗНЬ
МЕТРОПОЛЬ: Литературный альманах
ГЛАГОЛ: Литературный альманах

САША СОКОЛОВ родился в 1943 году. Покинув СССР в 1975-ом, он стал канадским гражданином и сейчас живет попеременно в Канаде и в Соединенных Штатах. Его первый роман „Школа для дураков" (Ардис, 1976) был переведен на английский, немецкий, голландский, французский и итальянский языки.

Отзывы о первой книге Саши Соколова:

Школа для дураков — обаятельная, трагическая и трогательнейшая книга.

Владимир Набоков

Появление этой книги — серьезное событие в русской прозе, потому что это появление писателя. Даже не появление, а явление — как-то неожиданно и вдруг, и писателя готового, сложившегося, уверенного. Случай редкий и чрезвычайно любопытный.

Континент

Свежий, осмысленный и звучащий язык, никогда не будет он узаконен Академией Наук, Словесным ее отделением! Свежее, новое, свободное построение фразы. Искусная, таинственно-творческая работа над словом, цепь образов, растущих, поворачивающихся к читателю то одной, то другой смысловой стороной, и глубоко скрытые, и все же светящиеся новым светом значения...

Нина Берберова

ARDIS / ANN ARBOR ISBN 0-88233-340-2. $5.00.